



Н·С·ЛЕСКОВ

Николай Семёнович Лесков

## **Рассказы кстати (Цикл)**

# Содержание

Совместители Буколическая повесть на исторической канве . . . . .	0008
#1 . . . . .	0008
Глава первая . . . . .	0009
Глава вторая . . . . .	0015
Глава третья . . . . .	0025
Глава четвертая . . . . .	0035
Глава пятая . . . . .	0039
Глава шестая . . . . .	0043
Глава седьмая . . . . .	0046
Глава восьмая . . . . .	0049
Глава девятая . . . . .	0052
Глава десятая . . . . .	0055
Глава одиннадцатая . . . . .	0057
Глава двенадцатая . . . . .	0061
Глава тринадцатая . . . . .	0066
Глава четырнадцатая . . . . .	0070
Старинные психопаты . . . . .	0074
#1 . . . . .	0074
Эпопея о Вишневецком и его сродниках . . . . .	0082
Интересные мужчины . . . . .	0162
Глава первая . . . . .	0162
Глава вторая . . . . .	0167
Глава третья . . . . .	0169
Глава четвертая . . . . .	0175

Глава пятая . . . . .	0181
Глава шестая . . . . .	0197
Глава седьмая . . . . .	0211
Глава восьмая . . . . .	0218
Глава девятая . . . . .	0222
Глава десятая . . . . .	0227
Глава одиннадцатая . . . . .	0231
Глава двенадцатая . . . . .	0235
Глава тринадцатая . . . . .	0237
Глава четырнадцатая . . . . .	0240
Глава пятнадцатая . . . . .	0245
Глава шестнадцатая . . . . .	0252
Глава семнадцатая . . . . .	0258
Глава восемнадцатая . . . . .	0270
Таинственные предвестия . . . . .	0276
Глава первая . . . . .	0276
Глава вторая . . . . .	0278
Глава третья . . . . .	0282
Глава четвертая . . . . .	0288
Глава пятая . . . . .	0292
Глава шестая . . . . .	0294
Глава седьмая . . . . .	0298
Глава восьмая . . . . .	0301
Глава девятая . . . . .	0307
Глава десятая . . . . .	0311
Глава одиннадцатая . . . . .	0314
Глава двенадцатая . . . . .	0320
Глава тринадцатая . . . . .	0326

Глава четырнадцатая . . . . .	0330
Александрит Натуральный факт в мистическом освещении . . . . .	0333
Глава первая . . . . .	0334
Глава вторая . . . . .	0337
Глава третья . . . . .	0339
Глава четвертая . . . . .	0340
Глава пятая . . . . .	0343
Глава шестая . . . . .	0345
Глава седьмая . . . . .	0349
Глава восьмая . . . . .	0351
Глава девятая . . . . .	0353
Глава десятая . . . . .	0355
Глава одиннадцатая . . . . .	0359
Загадочное происшествие в сумасшедшем доме (Извлечено из бумаг Е. В. Пеликана) (1858–1878) . . . . .	0362
Глава первая . . . . .	0362
Глава вторая . . . . .	0368
Глава третья . . . . .	0370
Глава четвертая . . . . .	0373
Глава пятая . . . . .	0377
Глава шестая . . . . .	0382
Глава седьмая . . . . .	0384
Умершее сословие (Из юношеских воспоминаний) . . . . .	0391
Голос природы . . . . .	0416
Глава первая . . . . .	0416

Глава вторая.....	0418
Глава третья.....	0421
Глава четвертая.....	0423
Глава пятая.....	0427
Глава шестая.....	0432

# **Николай Лесков**

## **Рассказы к стати (Цикл)**

# Совместители Буколическая повесть на исторической канве

*Род сей ничем же изимается.*

Совместительство у нас есть очень старое и очень важное зло. Даже когда по существу как будто ничему не мешает, оно все-таки составляет зло, – говорил некоторый знатный и правдивый человек и при этом рассказывал следующий, по моему мнению, небезынтересный анекдотический случай из старого времени. – Дело идет о бывшем министре финансов, известном графе Канкрине. Я записал этот рассказ под свежим впечатлением, прямо со слов рассказчика, и так его здесь и передам, почти теми же словами, как слышал.



## Глава первая

**Г**раф Канкрин был деловит и умен, но любил поволочиться. Тогда было, впрочем, такое время, что все волочились. Даже впоследствии это перешло как бы в предание по финансовому ведомству, и покойный Вронченко тоже был превеликий ухаживатель: только в этом игры и любезности той не было, как в Канкрине.[1] Такое господствовало настроение: жизнь играла у гробового входа.

И те, кому волокитство уже ни на что не нужно было, и они все-таки старались не отставать от сверстников.

Если не для чего-нибудь, то хоть для порядка или приличия, все имели дам на попечении. В самой большой моде были танцорки или цыганки, но иногда и другие особы соответственного значения. И притом никто почти не скрывал свои грешки, а нередко даже желали их огласки. Это давало случай в обществе подшучивать над «старыми грешниками». О них рассказывали разные смешные анекдоты, а это делало грешникам известность и рекомендовало их как добрых и за-

бавных вье-гарсонов.

Случалось, что имя грешника вспоминалось с какою-нибудь веселою шуткою при таких лицах, что это воспомянутому было полезно, и этим дорожили и умели обращать себе в выгоду.

Были даже такие старички, которые сами про себя нарочно сочиняли смешные любовные историйки и доходили в этом до замечательной виртуозности. Позднейшие критики, не знавшие хорошо действительности прошлой жизни, приписали нигилистической поре стремление «пить втроем утренний чай»; но это несправедливо. Все это было известно гораздо раньше появления нигилистов и производилось гораздо крупнее, но только тогда на это был другой взгляд, и «чай втроем» не получал тенденциозных истолкований.

А что старички в то время очень, очень шалили и что грешки их забавляли общество – это вы можете видеть по театральному репертуару. Тогда нередко так с кого-нибудь прямиком и писали пьесы. Например, «Новички в любви», или «Его превосходитель-

ство, или Средство нравиться» – это все с натуры. Теперь всех этих пьес уже и названий не припомнишь, а тогда, бывало, выведенных лиц по именам в театре называли и смеялись. Многие актеры, особенно Мартынов, бывало, нарочно гримировались и копировали на сцене того, в кого метили. Был даже один такой случай, что некто, имевший желание о себе напомнить, сам избрал для этого театр и сам приезжал к Мартынову с просьбою: «нельзя ли так представить, чтобы его лицо узнали». Мартынов над этим просителем подсмеялся: он ему не отказал, но что-то такое как-то прикрасил по-своему и чуть-чуть не повредил почтенному человеку. Впрочем, дело обошлось, и тот возобновил себя у кого желал в памяти и получил солидную должность.

В министерстве финансов тогда собралась компания очень больших волокит, и сам министр считался в этой компании не последним. Любовных грешков у графа Канкринна, как у очень умного человека, с очень живою фантазией, было много, но к той поре, когда подошел комический случай, о котором те-

перь наступает рассказ, граф уже был в упадке телесных сил и не совсем охотно, а более для одного приличия вел знакомство с некоторой барынькой полуинтендантского происхождения.

Среди интендантов граф Канкрин был очень известен по его прежней службе, а может быть и по его прежней старательности в ухаживаниях за смазливými дамочками, или, как он их называл, «жоли-мордочками». Это совсем не то, что Тургенев называет в своих письмах *мордемондии*. «Мордемондии» – это начитанная противность, а «жоли-мордочки» – это была прелесть.

Притом, я не знаю, как это кажется вам, а я в этом названии слышу что-то веселое, молодое и беззаботное, и в слове «жоли-мордочка» не вижу ничего ни грубого, ни обидного для прекрасного пола.

В оное былое время, когда граф интендантствовал, «жоли-мордочки» его сильно занимали и немало ему стоили; но в ту пору, до которой доходит мой рассказ, он уже только «соблюдал приличия круга» и потому стал и расчетлив и ленив в оказательствах своего

внимания даме.

А состоявшая в это время при нем «жолли-мордочка» была, как на трех, особа с некоторым образованием и очень живого характера: она требовала внимания, сердилась, капризничала, делала ему сцены и вообще хотела, чтобы он ею занимался и как-нибудь ее развлекал. Граф же был и стар и очень занят, да и по положению своему он не мог удовлетворять эти требования. А потому, поступая в духе времени, он очень желал, чтобы часть забот о развлечении молоденькой особы понес кто-нибудь другой. Это тогда не только допускалось, но даже и патронировалось. Одно лишь было в условиях этикета, чтобы совеститель был человек с тактом и не ронял значения главенствующего лица или патрона.

Таким дамам позволяли появляться с их адъютантами, где можно, в общественных местах, и это никому не вредило, потому что от этого шел хороший говор: «Вот-де князь NN надувает графа ZZ». А совсем никакого надувательства ни с чьей стороны и не было – все было с общего согласия, но только через хорошего «атташе» больше прославлялось имя па-

трона. Старичок, бывало, заедет утром, чашку кофе или шоколада выпьет и уедет и денег пачку оставит, а после визита приезжает совместитель, и идет счастливое препровождение времени.

Но нынешняя «жоли-мордочка» графа была капризница и дикарка: она ни с кем не знакомилась и тем ужасно обременяла графа непрерывными претензиями.

Он хотел отношений более удобных, а она скучала и совсем другое пела.

– Я, – говорит, – так, без участия сердца, жить не могу – я понимаю только одни серьезные отношения.

Граф ей несколько раз представлял, что ему невозможно сидеть у нее и оказывать «участие сердца», а она говорила:

– Нет, вы должны. Пойдем погуляем; я вам что-нибудь почитаю или поиграю.

Ни за что не хотела понять, что ему, как министру, это неудобно. Он и озаботился помирить ее требования как-нибудь иначе и сделал в этом направлении очень находчивый и смелый шаг; но только с хлопотами его вышел пресмешной казус.

## Глава вторая

Граф жил летом в Лесном, который тогда считался очень хорошим дачным местом. Канкрин сам ведь и положил начало здешнему заселению и всегда Лесному покровительствовал.

Оттого, может быть, здесь и после долго жили директора из министерства финансов, но только это уж не то. Славы Лесного они не поддержали – она пала невозвратно. Даму свою Канкрин поместил от себя в сторонке, именно в Новой Деревне, где тогда тоже было еще довольно чистенько и прилично. На здешних дачах помещалось большинство нежных особ, имевших именитых попечителей. Дачи этих дам, бывало, заметны, и опытный глаз сейчас их узнавал по хорошим, густым занавескам и по тому, что из них чаще всего слышалось пение куплетов:

*«В вас, конечно, нет дурного,  
Только, – право не в упрек,  
– Нет ли где-нибудь седого?»  
– «Что-с?»*

а хор отвечает:

*Водится грешок!  
Водится грешок!*

Весело, очень весело жилось! И куда только все это ушло и куда миновалось с усилением разночинца!..

Как пошли петь под бряцание: «Ты душа ль моя, красна девица! Ты звезда ль моя ненаглядная», – так игривый куплет из комнатного пения и вывелся.

«Всякой вещи свое время под солнцем» – даже и куплету.

Так пройдет и оперетка, с которою нынче напрасно борются.

Все пройдет когда-нибудь в свое время.

Канкрин посещал свою пустыньницу всегда верхом и всегда без провожатого; но серьезный служебный недосуг мешал ему делать эти посещения так часто, как желала его неудобная, по серьезности своих требований, «жоли-мордочка». И выходило у них худо: та скучала и капризничала, а он, будучи обременен государственными вопросами и литературой, никак не мог угодить ей. Сцены она



умела делать такие, что граф даже стал бояться один к ней ездить.

Рядом же с дачей графа Канкрина в Лесном в это лето поселился молодой, умный, прекрасно образованный и очень в свое время красивый гвардейский кавалерист П. Н. К—шин. Он был из дворян нашей Орловской губернии, и я знал его отца и весь род этих К—шиных: все были преумны и прекрасивы, этакие бравые, рослые, черноглазые, – просто молодцы.

Этот интересный сосед графа, несмотря на свои молодые годы и на военное звание, с представлением о котором у нас соединяется понятие о склонности к развеселому житью, вел жизнь самую уединенную – он все домо-седничал и читал книги или играл на скрипке.

Игра на скрипке и обратила на него внимание графа, который тоже был музыкант, и притом очень неплохой музыкант. Граф играл на скрипке в темной комнате, примыкавшей к его кабинету, который был тоже полутемен, потому что окна его были заслонены деревьями и кроме того заставлены рамками,

на которых была натянута темно-зеленая марли.

Офицер заиграет, а граф положит перо и слушает и, заинтересовавшись им, спрашивает один раз у своего латыша-камердинера:

– Кто это, братец, возле нас так хорошо играет?

Тот отвечает:

– Офицер какой-то, ваше сиятельство.

– Да кто же он такой – он какого полка?

Камердинер говорит:

– Я не знаю.

– Ну так я тебе приказываю: разузнай и доложи мне.

Камердинер все разузнал и вечером, когда стал раздевать графа, докладывает ему, что сосед их – молодой одинокий офицер самого щегольского кавалерийского полка, человек очень достаточный, а живет скромно. Графу это понравилось. Молодой человек и военный, если он все сидит дома да читает, то непременно, должно быть, он человек интересный и нравственный. Ветреник или гуляка не выдержал бы, он бы все бегал да на глазах мотался. У графа что-то на сон грядущий

и замелькало в мечтах, а утром, только что граф просыпается, – офицер уже на самой тонкой струне выводит какую-то самую забористую паганиниевскую нотку.

«Ишь, однако, какой он досужий, этот офицерик!» – подумал граф, и ему захотелось посмотреть на соседа. А тот как раз подошел и стал со скрипкою у окна.

Камердинер говорит:

– Извольте, ваше сиятельство, смотреть: господин офицерик весь теперь в виду вашем.

Граф взглянул и отвечает камердинеру:

– Ты, братец, дурак. Разве это «офицерик»? Это целый офицер, да еще, пожалуй, даже офицерище!

И графу захотелось с этим соседом познакомиться.

На следующий же день, когда молодой офицер возвращался с купанья и проходил мимо ограды сада графа Канкрина, тот стоял у своей решетки и заговорил с ним.

– Извините меня, поручик, – это вы так хорошо играете на скрипке?

– Да, я играю, ваше сиятельство. Не смею

думать, чтобы я играл хорошо, но прошу у вас извинения, если беспокою вас моею игрою. Я, впрочем, старался узнать время, когда я могу не нарушать вашего покоя.

– О нет, нет, нисколько. Сделайте милость, играйте! Я сам играю и прошу вас покорно – познакомимтесь. И у жены моей тоже собираются Klmpereî.[2] Приходите ко мне запросто, по-соседски, и мы с вами вместе поиграем.

Молодой человек поклонился, а граф указал часы, когда его удобно посещать запросто, «по-соседски», и они расстались.

Кавалерист поблагодарил графа и очень умно воспользовался его приглашением. Он пришел к графу не очень скоро и не чересчур долго, а как того требовали вежливость и уважение к лицу Канкрина, человека действительно замечательного – и по уму, и по деятельности, и по таланту.

В два визита молодой, умный поручик чрезвычайно расположил к себе министра. Граф с удовольствием любовался прекрасным молодым человеком и втайне возымел на него свой план. Офицер ему казался как раз таким человеком, с которым он мог завоевать

себе – если не область мира, то некоторую долю весьма желательного покоя. Короче и проще говоря, граф был уверен, что его беспокойная дама с серьезными взглядами и требованиями непременно этим молодым человеком заинтересуется. Стоит лишь их познакомиться – и они станут вместе читать и разыгрывать дуэты, а ему, старичку, будет отдых. И вот, когда офицер еще раз навестил Канкринна, министр и сказал ему:

– Ах, поручик, какой сегодня хороший день. Мне совсем не хочется сидеть дома и читать мои скучные бумаги. Я бы с большим удовольствием проехался верхом, а от вас зависит сделать мне эту прогулку еще приятнее.

Тот говорит:

– Я к вашим услугам, – но только спрашивает, каким образом он может увеличить это удовольствие.

– А вот, – отвечает граф, – прикажите-ка, чтобы вам оседлали вашу лошадь да привели ее сюда, и поедемте вместе.

Офицер с удовольствием согласился. Приказание было немедленно отдано и исполне-

но: верховые лошади подведены к крыльцу, и граф с молодым человеком сели и поехали.

День был действительно прекрасный, располагающий человека хорошо себя чувствовать и весело болтать.

Канкрин был в своем обыкновенном, длиннополом военном сюртуке с красным воротником, в больших темных очках с боковыми зелеными стеклами и в галошах, которые он носил во всякую погоду и часто не снимал их даже в комнате. На голове граф имел военную фуражку с большим козырьком, который отенял все его лицо. Он вообще одевался чудаком и, несмотря на тогдашнюю строгость в отношении военной формы, позволял себе очень большие отступления и льготы. Государь этого как бы не замечал, а прочие и не смели замечать.

Всадники ехали довольно долго молча, но, несмотря на это молчание, видно было, что граф чувствует себя очень в духе. Он не раз улыбался и весело поглядывал на своего спутника, а потом, у одного поворота вправо к тогдашней опушке леса, остановил лошадь и сказал:

– А знаете ли что, поручик: не заедем ли мы с вами к одной прехорошенькой дамочке.

Молодой человек немного сконфузился от этой неожиданности и проговорил, что он не знает – ловко ли это будет с его стороны приехать незванным в незнакомый дом.

– О, не беспокойтесь, – отвечал граф. – Вы уже во всем в этом положитесь на меня. Я, конечно, знаю, куда вас приглашаю. Это, я вам скажу, премилая молодая особа, и держит себя совсем без глупых церемоний. Мы с нею давно друзья и вы, я уверен, непременно захотите с нею подружиться. Она довольно умна и прехорошенькая. По своим семейным обстоятельствам она живет совершенно одна – монастыркой и очень часто скучает. Это ее единственный, можно сказать, недостаток. Мы приедем очень кстати, и вы увидите, как она мило нам обрадуется и встретит нас *a bras-ouverts*. [3]

– В таком случае я в вашем распоряжении, – отвечал офицер.

– Ну вот и прекрасно! – воскликнул граф. – А эта милая дама и живет отсюда очень недалеко – в Новой Деревне, и дача ее как раз с

этой стороны. Мы подъедем к ее домику так, что нас решительно никто и не заметит. И она будет удивлена и обрадована, потому что я только вчера ее навещал, и она затомила меня жалобами на тоску одиночества. Вот мы и явимся ее веселить. Теперь пустим коней рысью и через четверть часа будем уже пить шоколад, сваренный самыми бесподобными ручками.

Офицер молча поклонился.

– Да, да, – продолжал Канкрин. – Вы не думайте, что это одни слова. Таких других ручек не скоро отыщете. Лавальер дорого дала бы, чтобы иметь такие ручки, потому что их-то ей и недоставало, но у этой госпожи ни в чем нет недостатка. Ну, давайте поводья, и мы сейчас будем там.

Поводья даны, и путники приехали так скоро, как обещал Канкрин. И другое его сообщение тоже оказалось верно: при приближении их к дачке, обитаемой прелестною дамою, их действительно никто не заметил. На маленьком дворике была тишина – только чьи-то пестренькие цесарские куры похаживали и делали свойственные им фальшивые



движения головами из стороны в сторону – точно они на кого-то кивали. Разрисованные сторы с пастушками и деревьями были опущены донизу, и из-за одной из них выглядывала морда сытого рыжего кота, но сама милая пустыньница была нигде не заметна и не спешила а bras-ouverts навстречу графу.

## Глава третья

Через минуту приезд гостей был, однако, замечен и произвел смятение в маленьком домике. Владетельная обитательница дачи не показалась, а ее служанка взглянула в окно и тотчас же быстро снова исчезла. Запертую изнутри дверь открыли не совсем скоро, и вышедшая навстречу гостям девушка заговорила второпях, что «барышня» нездорова, а она оберегала ее, чтоб было тихо, и сама заснула.

Граф спросил:

- Чем Марья Степановна нездорова?
- Зубки у них болят – всю ночь не спали.
- А-а, зубки! Надо заговорить ее зубки.

Канкрин входил в комнаты, громко стуча своими галошами, а его спутник следовал молодой, легкой поступью за ним.

Горничная еще больше обеспокоилась и стала говорить:

– Осмелюсь доложить... Они сейчас выйдут, я им уже сказала, что вы пожаловали, и они одевают распашонку.

Образование тогда еще было распределено так неровно, что многие горничные не употребляли иностранное слово «пеньюар», а называли по-русски «распашонка».

– Ну, так мы подождем, пока она оденется, – отвечал граф и не пошел далее, а спокойно сел на широком оттомане и пригласил сесть офицера: – Садитесь, поручик. Не стесняйтесь, – я вас уверяю, что мы будем хорошо приняты.

Он понизил голос и, наклонясь к уху собеседника, добавил:

– Она немножко с душком – как и все хорошенькие женщины, – но это ровно ничего не значит: миленьким женщинам все простить можно. Притом же надо иметь снисхождение к ее положению. Как хотите, а оно немножко неправильно и уязвляет ее самолюбие. Конечно, она ни в чем не нуждается, но это все не то, что она намечала в своих мечтаниях.

Она дочь почтенного человека и образована, притом мечтательна. Она прекрасно умеет рассказать свою историю и, верно, когда-нибудь вам ее расскажет. О, она преинтересная и любит «участие сердца».

И граф сообщил кое-что о странностях живого и смелого характера Марьи Степановны. Она жила в фаворе и на свободе у отца, потом в имении у бабушки, отчаянно ездит верхом, как наездница, стреляет с седла и прекрасно играет на бильярде. В ней есть немножко дикарки. Петербург ей в тягость, особенно как она здесь лишена живого сообщества равных ей людей – и ужасно скучает.

– Но вы понимаете, – продолжал граф, – что, после утомления однообразием характеров наших светских «кавалер-дам», этакое живое существо – оно, черт возьми, шевелит, оно волнует и встряхивает своею кипучей натурой.

А Марья Степановна все-таки еще не показывалась.

Граф устал говорить, тем более что спутник его ничего ему не возражал, а только молча с ним соглашался и обводил глазами

квартиру прелестной дамы в фальшивом положении. Как большинство всех дачных построек, это был животрепещущий домик с дощатыми переборками, оклеенными бумагой и выкрашенными клеевой краской.

Набивные бумажные обои тогда еще только начинали входить в употребление в городских домах, а дачные домики внутри раскрашивали и потолки их расписывали цветами и амурами.

Это тогда дешевле стоило и, по правде сказать, выходило недурно.

Убранство комнат было не бедное, но и не богатое, но какое-то особенное, как бы, например, походное или вообще полковое; точно как будто здесь жила не молоденькая красивая женщина, а, например, эскадронный командир, у которого лихость и отвага соединялись с некоторым вкусом и любовью к изящному. Неплохие ковры, неплохие занавесы, диваны, фортепиано и цитра, но больше всего ковров. Все, где только можно повесить ковер, там покрыто и занавешено коврами. Огромный же персидский ковер закрывает от потолка до полу и всю дверь в спальню, где

теперь за перегородкой одевается Марья Степановна.

А оттуда все-таки еще ни слуха ни духа.

– Однако долго она что-то надевает свою распашонку! – заметил граф и громко позвал по-русски:

– Марья Степановна!

Очень приятный грудной контральт отозвался из-за стенки:

– Сейчас.

– А когда же вы кончите свои Klimperei? Мы уже устали вас ждать.

– Тем лучше.

– Да, но если вы скоро не выйдете, то я буду так дерзок, что пойду к вам.

– Вы этого не смеете. Впрочем, я сейчас, сейчас выйду.

– Все пукольки, пукольки, – пошутил граф.

Офицер приподнялся с дивана и начал рассматривать приставленную в углу комнаты доску, на которой был наклеен белый картон с расчерченными на нем кругами и со многими следами попавших сюда пуль.

– Это вот наша Диана изволит стрелять, – сказал граф.

– Довольно меткие выстрелы.

– Да, но ведь это не дозволено в жилом месте, и я уже из-за нее имел по этому поводу объяснения... Но, однако...

Граф сделал нетерпеливое движение и добавил:

– Этот прекрасный стрелок нынче так долго медлит, что я позволю себе сделать атаку.

И граф только что приподнялся с дивана, чтобы постучать в двери, как завешивавший дверь ковер отодвинулся, и в его полутемном отвороте появилась красивая Марья Степановна. Она в самом деле была очень хороша – хотя немножко полновата. Рост у нее был небольшой, но хороший, и притом удивительное античное телосложение, а лицо несколько смугловатое, с замечательным тонким очертанием, напоминающим новогреческий тип. Это прелестное лицо очень знали в Петербурге, и Марья Степановна впоследствии еще покрушила много сердец и голов, так как с этого случая, о котором я теперь рассказываю, только началась ее настоящая карьера. Впоследствии из нее вышел такой на все руки боец и делец, через которого обделы-

вались самые невозможные дела. Но мы, однако, не будем предупреждать события.

Граф подал Марье Степановне руку, а другою рукою поддержал ее за затылок под головку и поцеловал ее в лоб, который та подставила графу как истая леди.

Затем он представил хозяйке гостя, а тому сказал:

– Марья Степановна—мой друг: ее друзья – мои друзья, а врагов у нас с нею нет.

Марья Степановна ласково протянула гостю руку, а в сторону графа отвечала:

– Что до меня, то это не так: у меня враги есть и впредь очень быть могут, но я их никогда не замечаю.

Между тем, хотя она держала себя и очень самоуверенно и смело, но в ее лице, фигуре и в довольно хороших, но несколько нервных движениях было что-то немножко вульгарное и немножко тревожное, но тревожное, так сказать, «с предусмотрением» на всякий возможный случай. Она держалась прекрасно и говорила бойко и умно, не стесняясь своей очень очевидной роли, – что непременно стала бы делать женщина менее сообрази-

тельная; но только ей все-таки было не по себе, и она прибегла к общеармейскому средству: она пожаловалась на нездоровье, причем впала в довольно заметную ошибку: девушка ее говорила о зубной боли, а сама Мария Степановна возроптала на несносную мигрень.

Граф заметил ей это и рассмеялся, а она рассердилась и запальчиво ответила:

– Не все ли это равно.

– Ну, не совсем все равно.

– Совершенно равно: когда сильно болят зубы, тогда все болит. Не правда ли? – обратилась она к офицеру.

Тот согласился с шутливым поклоном.

– Вы очень милы, – отвечала она и снова обвела комнату взглядом, в котором читалось ее желание, чтобы визит посетителей сошел как можно короче. Когда же граф сказал ей, что они только выпьют у нее чашку шоколада и сейчас же уедут, то она просияла и, забыв роль больной, живо вышла из комнаты отдать приказания служанке, а граф в это время спросил своего спутника:

– Какова-с?



– Эта дама очень красива.

– Да, это лицо сотворено для художника – и она позировала перед Майковым. Приятный художник. Я его знал еще в двенадцатом году, когда он был офицером. Очень нежно пишет. Государь любит его кисть. У меня есть несколько головок Марьи Степановны, но тут у нее у самой есть с нее этюд, где видно больше, чем одна головка... Это ничего, что она полна. Майков был ею очарован. Говорят, будто он религиозен, – я этого не знаю, но он в беззастенчивом роде пишет прелестно. Вы видали его произведения в этом роде?

– Нет, – я о них только слышал.

– Ну, так вы сейчас это можете видеть: дайте вашу руку и идите за мною.

И Канкрин почти втянул офицера за собою в спальню красавицы, где над газированным уборным столом висел довольно большой, драпированный бархатом, портрет Марьи Степановны. Портрет действительно был хорошо написан, известными нежными майковскими лассировками и с большою классическою открытостью, позволявшею любоваться и формами и живым и сочным коло-

ритом прелестного женского тела. Картина была вполне мастерская и вполне достойная живой красоты, которую она воспроизводила. Но майковские лассировки были очень нежны, а офицер был от природы сильно близорук и, чтобы рассмотреть картину, должен был стать к ней очень близко. Канкрин его сам к этому и подвинул, подведя вплотную к пышно убранному кисеею туалетному столику.

Тут и случилось самое неожиданное происшествие: офицер не заметил, как он запутался шпорами или саблей в легкие оборки кисейной отделки туалетного стола, а когда он нагнулся, чтобы поправить свою неловкость, то сделал другую, еще большую. Желая освободить себя из волн кисеи, он приподнял полу чехла и остолбенел: глазам его, как равно и глазам графа, представились под столом две неизвестно кому принадлежащие ноги в мужских сапогах и две руки, которые обхватывали эти ноги, чтобы удержать их в их неестественном компакте.

## Глава четвертая

**М**олодой офицер был преисполнен жесточайшею на себя досадою за свою неловкость, и в то же время ему разом хотелось смеяться, и было жаль и этой дамы, и графа, и того неизвестного счастливица, кому принадлежали обретенные ноги.

Но положение сделалось еще труднее, когда офицер оглянулся и увидал, что сама Марья Степановна успела возвратиться и стояла тут же, на пороге открытой двери.

«Вот, черт возьми, положение!» – подумал он, и в его голове вдруг промелькнуло, как такие вещи разыгрываются у людей той или другой нации и того или другого круга, но ведь это все здесь не годится... Ведь это Канкрин! Он должен быть умен везде, во всяком положении, и если в данном досадном и смешном случае Марье Степановне предстояла задача показать присутствие духа, более чем нужно на седле и с ружьем в руках, то и он должен явить собою пример благоразумия!

Между тем картина не могла оставаться

немою, – и граф был, очевидно, того же самого мнения.

Видя всеобщее удручение немою сценою, граф, нимало не теряя своего спокойного самообладания, нагнулся к задрапированному столу, из-под которого торчали ноги, и приветливо позвал:

– Милостивый государь!

Ответа не было.

– Молодой человек! – повторил граф.

Ноги слегка вздрогнули.

– Mon enfant,[4] – обратился граф к Марье Степановне, – не можете ли вы мне сказать, как зовут этого странного молодого человека?

– Его зовут Иван Павлович, – отвечала покраснев, но с задором в голосе хозяйка.[5]

– Прекрасная вещь, но как жаль, что он так застенчив! Зачем он от нас прячется?

– Так... просто застенчив...

– Что за причуды сидеть под столом!

– Он прекрасно вышивает и помогал мне вышивать сюрприз ко дню вашего рождения и... сконфузился.

– Сюрприз ко дню моего рождения...

Граф послал ей рукою по воздуху поцелуй

и добавил:

– Merci, mon enfant,[6] Иван Павлович, выходите: вам там совсем неловко вышивать.

Гость под столом фыркнул от смеха и самым беззаботным, веселым голосом отвечал:

– Действительно, ваше сиятельство, неудобно.

И с этим вдруг, как арлекин из балаганного люка, перед ними появился штатский молодец в сюртучке не первой свежести, но с веселыми голубыми глазами, пунцовым ртом и такими русыми кудрями, от которых, как от нагретой проволоки, теплом палило...

Канкрин подал ему с лежавшего на столе серебряного plateau[7] большую черепаховую гребенку и сказал:

– Поправьте вашу прическу.

– Это напрасно, ваше сиятельство.

– Нет, она у вас в беспорядке.

– Все равно, ваше сиятельство, их причесать нельзя.

– Отчего?

– Они у меня не ложатся.

– Как не ложатся!

– Никогда, ваше сиятельство, не ложатся.

– Слышите! – обратился граф к офицеру; тот улыбнулся.

– Ну, а если их – эти ваши волосы намочить водою?

– И тогда не ложатся.

– Вот так натура! – подхватил граф и то же самое повторил, оборотясь к офицеру, а Марье Степановне сказал по-французски:

– А вы напрасно говорите, что он конфузлив.

– Он теперь оправился, потому что вы его обласкали.

– А-а, это очень быть может, – согласился граф и закончил:

– Ведите же нас, милая хозяйка, к вашему столу.

С этим он подал Марье Степановне руку и провел ее к столу, где всех их ожидал шокотлад.

На Ивана Павловича действительно была сказана напраслина, будто он конфузлив; но тем не менее он все-таки не знал, куда деть глаза, и министр вступился в его положение и начал его расспрашивать.

## Глава пятая

— Служите ли вы где-нибудь, молодой человек?

— Служу, ваше сиятельство.

— И что же: везет ли вам на службе?

— Не знаю, как вам об этом доложить.

— Ну какое вы, например, занимаете место?

— Канцелярский чиновник.

— Еще не высоко! А давно уже служите?

— Пять лет.

— Что же вас не подвигают?

— Протекции не имею, ваше сиятельство.

— Надо иметь не протекцию, а способности и доброе прилежание при добром поведении. Это гораздо надежнее.

— Никак нет, ваше сиятельство.

— Что значит ваше «никак нет»?

— Протекция гораздо надежней.

— Что за вздор вы говорите!

— Нет-с, это действительно так.

— Перестаньте, пожалуйста! Это даже думать так стыдно.

— Отчего же, ваше сиятельство, стыдно, — я это беру с практики.

– С какой практики? Велика ли еще ваша практика! Вы так молоды.

– Молод действительно, ваше сиятельство, но все так говорят, и я тоже по себе заключаю: я считаюсь и способным, и все старание прилагаю, и ни в чем предосудительном в поведении не замечен, в этом, я думаю, Марья Степановна за меня поручиться может, потому что я ей уже три года известен...

– Ах, вы уже три года знакомы! – перебил граф. – Это раньше меня!

– Несколько менее, – заметила Марья Степановна.

– Да, действительно менее, – подхватил Иван Павлович.

– Он, однако, вовсе не застенчив, – шепнул ей на ухо граф.

– Вы его обласкали.

– Правда ваша, правда.

– А кто это, молодой человек, ваш главный начальник, при котором так мало значат труды и способности, а все зависит от протекции?

– Прошу прощения у вашего сиятельства: этот вопрос меня затрудняет.



– Не стесняйтесь! Мы здесь встретились просто у общей знакомой– милой и доброй дамы и можем говорить откровенно. Кто ваш главный начальник?

– Вы, ваше сиятельство.

– Как я!

– Точно так, ваше сиятельство: я служу в министерстве финансов.

– Ну, послушайте, – обратился граф по-французски к Марье Степановне, – он совершенно не застенчив.

Та сделала нетерпеливое движение.

– Отчего же я вас, Иван Павлович, никогда не видал? – спросил граф.

– Нет, вы изволили меня видеть, только не заметили. Я во все праздники являюсь и расписываюсь на канцелярском листе раньше многих.

– Да как же, наконец, ваша фамилия?

– Я называюсь N—ов.

– N—ов, – так я произношу?

– Точно так, ваше сиятельство.

– Ну, *adieu, mon enfant*, [8] – обратился граф к даме, – и *au revoir, monsieur N – ов*. [9]

Граф и его спутник простились, сели на

своих коней и уехали.

Наблюдавший всю эту любопытную сцену офицер заметил, что Марья Степановна различила разницу посланного ей графом «adieu» от адресованного Ивану Павловичу «au revoir», но нимало этим не смутилась; что касается самого Ивана Павловича, то он при отъезде гостей со двора выстроился у окна и смотрел совсем победителем, а завитки его жестких, как сталь, волос казались еще сильнее наэлектризованными и топорщились кверху.

«Черт меня знает, на какое я налетел происшествие», – думал офицер и ощущал сильное желание как можно скорее расстаться с графом.

## Глава шестая

То же самое, в свою очередь, испытывал и Канкрин. И ему, разумеется, не было теперь удовольствия ехать с глазу на глаз вдвоем с малознакомым щегольским офицером, который видел его в смешном положении.

Как только они выехали за Новую Деревню, на лужайку к Лесному, граф говорит:

– Ну, вы теперь отсюда куда же?

Офицер понял, что тот хочет от него отделаться, и сам этому случаю обрадовался.

– Я, – говорит, – хотел бы заехать к одному товарищу здесь, в Старой Деревне.

– Что же, и прекрасно, вы не стесняйтесь. А я поеду на Каменный навестить, графа Панина.

Им дальше было не по дороге.

Граф остановил коня и крепко, дружески пожал офицеру руку.

Тот ощутил в этом пожатии целую скромную просьбу и в молчаливом поклоне умел выразить готовность ее исполнить.

– Спасибо, – отвечал Канкрин, и они расстались.

Граф, однако, обманул своего молодого друга – он не поехал к Панину, а возвратился домой и прошел к супруге. Графиня Екатерина Захаровна (рожденная Муравьева) в это время принимала у себя какого-то иностранца-пианиста, которого привез ей напоказ частый ее гость, известный в свое время откупщик Жадовский.

Графиня и Жадовский сидели и слушали артиста, который с величайшим старанием показывал им свое искусство в игре на фортепиано.

Граф даже не вошел в комнату, а только постоял в открытых дверях, держась обеими руками за притолки, а когда пьеса была окончена и графиня с Жадовским похлопали польщенному артисту, Канкрин, махнув рукою, произнес бесцеремонно «*miserable Klimperei!*», [10] и застучал обоими галошами по направлению к своему темному кабинету.

Здесь он надел на лоб козырек от фуражки, служивший ему вместо тафтяного зонтика, и сел за работу перед большим подсвечником, в котором горели в ряд шесть свечей под темным абажуром.

На половине «кавалер-дамы» Екатерины Захаровны (так величал ее покойный граф) долго еще оставались откупщик и артист и раздавалась «miserable Klimperei», а граф все сидел и, может быть, обдумывал один из своих финансовых планов, а может быть просто дремал после прогулки на лошади. Но только возвратившийся домой спутник графа видел с своего балкона силуэт Канкрина на марли заставок очень долго, а утром рано опять уже слышалась его скрипка. Это значило, что Канкрин встал, умылся и, вместо утренней молитвы, играет в своей темной уборной.

Значит, его настроение находится в полном порядке.

## Глава седьмая

На другой день, при докладе, Канкрин обратился к директору департамента, Александру Максимовичу Княжевичу, и спросил: есть ли у него канцелярский чиновник по фамилии N—ов?

Княжевич этого, наверно, и сам не знал, но отвечал, что, кажется, будто такой есть.

Спросили у экзекутора, — оказалось, что действительно есть чиновник N—ов.

— А давно ли он служит и где воспитывался?

Отвечают, что служит уже около пяти лет (совершенно верно, как говорил сам Иван Павлович). А происходит он из небогатых курских дворян, мать его была в Судже акушеркою, а он обучался на средства какого-то благодетеля в курской гимназии и окончил курс.

Граф это выслушал и говорит:

— Я его видел. В курской гимназии хорошо воспитывают. У нас образованных молодых людей немного еще: нельзя ли нам его как-нибудь по службе поощрить?

А Александр Максимович Княжевич был иногда упрям и с странностями; он отвечал:

– У меня нет никаких вакансий.

Только тут же случился директор другого департамента, который был ловчее; этот и вызвался:

– У меня, – говорит, – ваше сиятельство, в одном отделении есть место помощника столоначальника, и мне образованный, скромный молодой человек очень нужен.

Канкрин поблагодарил этого директора, и место Ивану Павловичу тотчас дали.

Как он был рад – уж это можно представить, но только на другой день, по подписании приказа, директор призвал Ивана Павловича к себе и говорит:

– Есть ли у вас вицмундир?

Иван Павлович отвечает:

– Никак нет, ваше превосходительство: я занимал до сих пор неклассную должность и вицмундира себе не шил, да и сшить не за что.

– Ну теперь, – отвечает директор, – вы повышены, и на классной должности вам вицмундир необходим. Я назначу вам из канце-

лярских сумм полтора ста рублей пособия, – извольте их получить и немедленно же закажите себе хороший вицмундир. Советую вам сделать его на Васильевском Острове у портного Доса. Он сам англичанин и всем англичанам работает. Его фраки очень солидно сидят, что для формы идет. Можете ему сказать, что я вас прислал: он и мне тоже работает. – А когда будете одеты, прошу ко мне явиться.

Дос сшил Ивану Павловичу такую вицмундирную пару, что тот сразу получил вид по крайней мере молодого сенатора.

– Чудесно сшито, – похвалил директор. – Теперь извольте же завтра представиться в этом вицмундире графу и поблагодарить его, так как вы вашим повышением обязаны непосредственному вниманию его сиятельства к вашим способностям и воспитанию.

«Эх, ты, черт возьми, какая загвоздка!» – подумал Иван Павлович.

Он и сам чувствовал в себе большую потребность благодарить графа, но, при воспоминании об обстоятельствах, которые предшествовали этому начальственному вниманию, мысли молодого человека путались.



Ивану Павловичу казалось и смешно и даже как будто дерзко напоминать о себе графу предъявлением ему своей интересной самоличности. Иван Павлович думал так, что если он не пойдет благодарить, то это будет лучше: граф наверно не сочтет этого за непочтительность, а, напротив, похвалит его скромность; но директор понимал дело иначе и настоял, чтобы Иван Павлович непременно пошел представляться и благодарить.

Делать нечего, надо было повиноваться.

## Глава восьмая

**В** нарочитый день, когда Канкрин принимал чиновников своего ведомства, стал перед ним в числе представлявшихся и Иван Павлович.

Только этот застенчивый человек, — сколько по скромности, столько же по тонкому расчету, — поместился ниже всех, в самом конце шеренги представлявшихся чинов. Этим Иван Павлович оказал скромность перед другими, более сановными лицами, а себе подготовил ту выгоду, что, оставаясь последним, он мог принести свою благодарность мини-

стру наедине.

Действительно, так и пришлось: Канкрин отпустил по очереди всех представлявшихся, а потом подошел к последнему Ивану Павловичу и, не смотря ему в лицо, протянул руку, чтобы принять прошение.

Иван Павлович поклонился и молвил:

– Я, ваше сиятельство, не с прошением.

Канкрин вскинул на него глаза и проговорил:

– Что же вам угодно?

– Я являюсь, по приказанию директора, чтобы благодарить ваше сиятельство.

– За что?

– Я получил место...

– Прекрасно... я очень рад... Значит, вы его заслужили.

– Господин директор мне объявил, что вы сами изволили оказать мне в этом помощь.

– Очень может быть: вы мне помогли, а я вам помог. Это так и следовало. Желаю вам счастливо подвигаться вперед.

Граф поклонился и ушел, а директор призвал к себе в кабинет Ивана Павловича и спросил его, что с ним говорил министр при

представлении.

Иван Павлович отвечал:

– Граф изволили быть со мною очень милостивы и пожелали мне «счастливо подвигаться вперед».

Директор сделал жест и говорит:

– Это прекрасно, – вы можете считать себя устроенным: граф очень проницателен, и он не ошибся отметить в вас способного молодого человека, которому стоило только сделать первый шаг. Этот шаг теперь вами и сделан, а дальнейшее зависит не от одних ваших стараний, но также и от сообразительности, – присядьте.

Иван Павлович поклонился.

– Присядьте, присядьте, – повторил директор, показывая ему на стул.

Тот сел.

## Глава девятая

— Финансовая служба, — заговорил директор, — это не то что какая-нибудь другая служба. Она имеет свои особенности. Здесь идет дело не о юридических фантазиях, а о хозяйстве, — о всем, так сказать, достоянии России. Вот почему люди, которые допускаются к финансовым должностям, облачаются большим доверием начальства, и потому они должны быть ему крепки... Они должны, так сказать, представлять начальству в самих себе прочное ручательство, что, кроме естественно в каждом честном человеке предполагаемого сознания собственного достоинства и священного долга, они скрепили себя другими узами, которые в своем роде тоже равны присяге, потому что они произносятся перед алтарем и начертываются в сердце...

Директор был немножко поэт, но Иван Павлович в ту же минуту умел перелagать его оду на обыкновенный прозаический язык.

— Я говорю о том, — сказал директор, — что в финансовом ведомстве довольно трудно полагаться на холостых людей. Холостые люди —

они, как мотыльки или как перелетные птички, всегда готовы порхать с цветка на цветок, с ветки на ветку. Посидел, вспорхнул – и нет его, и ищи где знаешь. В военной службе это, например, даже принято, но по финансовой службе это невозможно. Настоящий финансист, если он желает внушать к себе полное доверие, непременно должен иметь дорогих и близких его сердцу существ... Понимаете, чтобы ему было к кому чувствовать привязанность и было чем и для кого дорожить собою.

Директор чувствовал, что говорит вздор, и спешил окончить.

– Я разумею то, – заключил он, – что финансист непременно должен быть женат и иметь семейство. Да, да, да! Непременно! И я разумею не какое-нибудь ветреное семейство, составленное на холостую руку, а плотную и почтенную женатую жизнь. Истинный финансист, если он желает представлять собою надежные за себя ручательства, непременно должен быть женат. Одно глубоко и искренно уважаемое мною лицо, которого я не назову вам, раз прямо высказало мне свою тайную

задушевную мысль, что, по его мнению, ответственные должности по финансовому ведомству предпочтительно надлежит доверять людям женатым. И мы этого держимся, если не совсем без отступлений, то по возможности мы женатым даем преимущества. Таковы почти правила для финансовой службы, если ею управляют как следует. И я хотел бы сказать, что это прекрасные правила, выработанные практикой и освященные временем. И для того, кто имеет благородное честолюбие и кто способен никогда не упускать из виду сделать себе быструю и хорошую карьеру, – я надеюсь, что я не говорю ничего необычайного и нового. Кто религиозен и кто уважает заповедь Божию, тот должен знать, что «не благо быть человеку одному». Этого положения обойти нельзя, ибо оно вечно, ибо это... так...

Директор поднялся с своего кресла, вознес вверх правую руку с двумя выпрямленными пальцами и закончил:

– Так сказал о человеке сам Бог!

С этим сановник вручил свои два пальца Ивану Павловичу и отпустил его со словами:

– И я так вам советую и желаю вам счастья

и успехов. Ваш столоначальник почти такой же, как вы, молодой человек с прекрасным образованием и сердцем. Вам с ним будет приятно. В нем много самолюбия, и он на своем нынешнем посту долго не засидится. Я не люблю оставлять без поощрения людей способных и меня понимающих. Томить людей не следует, и никого из моих подчиненных не томить – это мое правило.

Они поклонились друг другу самым пристойным и самым выразительным манером.

## Глава десятая

Спустя столько времени, сколько Ивану Павловичу показалось нужным для того, чтобы дело его имело надлежащий вид, он подал своему директору записку о разрешении ему вступить в законный брак с Марьей Степановной.

Граф Канкрин хотя с неудовольствием, но все-таки не отказал в просьбе Марьи Степановны и был у нее посаженным отцом.

Иван Павлович для этого случая обнаружил всю тонкость своего практического ума: он устроил свадьбу «по-английски» – тихую, в

маленькой домовою церкви, состоявшей на особых правах.

Министр ни малейшим образом не имел причины пожалеть о том, что он уступил *последней* просьбе своей милой знакомой, которой уже ранее сказал свое «adieu».

Она ему, впрочем, напомнила об этом «adieu», когда, по приезде из церкви, осталась на короткое мгновение вдвоем с глазу на глаз с графом.

– «Adieu», – сказала она, – может говорить женщина мужчине, но не мужчина женщине. Вы меня оскорбили – это на вас не похоже.

Граф извинился рассеянностью.

– Я очень рада, а то я начинала думать, что вы способны забывать свои самые лучшие философские правила.

– Например, какие?

– Никогда не говорить «никогда». Вы меня этому учини, и я помню.

Граф засмеялся – как будто этим ему было приведено на память что-то очень смешное и в то же время приятное.

– А что, видите, – вы мне, верно, не льстили, находя у меня «философскую складку».



– О, я вам нимало не льстил! Вы не только имеете «философскую складку», но вы совсем великий практический философ.

– И что же, должна ли я теперь сказать вам «adieu»?

– Mon ange,[11] – вы можете по-прежнему сказать au revoir.

И он взял и поцеловал ее руку, а она слегка коснулась его лба и слегка же уронила ему в ответ:

– По-прежнему.

## Глава одиннадцатая

**И**ван Павлович немедленно же получил место столоначальника и был очень счастлив в своей семейной жизни. Марья Степановна была ему прекрасною женою, что ей было и нетрудно, потому что она этого молодца в самом деле любила. Из ее приглашения графа к «прежнему» для супружеского счастья Ивана Павловича не выходило ничего угрожающего. Марья Степановна была не пустая, легкомысленная кокетка, которая способна упражняться в кокетстве по одной любви к этому искусству. Нет, Марья Степановна

была умная женщина, и именно русская умная женщина, с практическим закалом. Она широко обзревала раскрывающееся перед нею поле жизни и умела отличать кажущееся от существенного. В самом ее красивом облике тонкие черты новогреческого типа, если всматриваться в них, напоминали одновременно старый византизм и славянскую смышленность. В ней было что-то пристойное бывшей «матерой вдове Мамелефе Тимофеевне», перед которою в раздумье тыкали посошками в землю и трясли бородами поважные старцы, чувствуя, что при такой бабе им негоже над бабьею головою тешиться. Весь разговор, веденный Марьей Степановной с целью упомянуть про «прежнее», был умный прием не для возобновления прежних «пустяков», из которых Марья Степановна выбралась совсем не затем, чтобы к ним возвращаться, «как пес на своя блевотины», а для того, чтобы сохранить декорум. Она знала французское присловье, что и «королевская любовница не стоит честной жены пастуха» – и она вышла замуж не даром, не балуясь; но что могло быть пригодно, того она упускать тоже

не хотела. Уважала или нет она своего Ивана Павловича, – это иной вопрос: умные, практические женщины редко кого уважают, да им это и не нужно; но она его *любила*, и этого с нее было довольно, чтобы сделать для него привязанность к ней легкою, приятною и ничем не возмутимую.

Как большинство женщин подобного практического склада, она любила Ивана Павловича просто за то, что он молодец собою, а притом расторопен, сметлив и ей послушен. Он ей во всем станет верить: она его ни в чем не обманет – именно потому, что он ей очень нравится, и они вдвоем заживут в мире и согласии без всякого уважения, и возьмут с жизни на свой бенефис прехорошую срывку.

А о том, что о них будут говорить, что о них станут думать, – этому вздору она знала настоящую цену.

«Будь бела как снег и чиста как лед, и все равно людская клевета тебя очернит».

Играя с графом на «прежних» струнах, она знала, что аккорд зазвучит так, как она захочет.

Уголь, который она раздувала будто бы неосторожно, был ей известен: она знала, что в нем есть некоторая теплота, но не осталось уже ни малейшей доли опасного пламени.

Но именно эта-то тихая и безопасная теплота ей и была полезна для ее целей. В ней именно и нуждалось их все-таки пока еще совсем неустроенное и несогретое домашнее гнездышко. Граф был нужен, – и Иван Павлович знал это ничуть не менее, чем его супруга. А потому, когда Канкрин, считая себя совершенно уединенным с Марьей Степановной, целовал ее пальчик в знак восстановления чего-то «прежнего», – Иван Павлович, стоя за дверью с шампанскою бутылкою, придерживал подрезанную пробку, чтобы она не хлопнула ранее, чем разговор будет кончен.

Он явился с вином как раз вовремя и кста-ти, когда все нужное уже было сказано.

## Глава двенадцатая

**И**ван Павлович, при всей его малозначительности для такого несомненно большого человека, как граф Канкрин, сделался тем, что был какой-то сомнительный дух, вызванный из какой-то бездны словом очень неосторожного аскета.

Выскочил Иван Павлович перед графом из-под уборного стола неожиданно, как гороховый росток из пупа индийского дервиша, которого описывает болтливый француз Жаколио, а убрать его назад с глаз долой сделалось трудно.

Это произошло, во-первых, от изящной манеры графа никогда не оставлять без внимания тех дам, с которыми он был однажды ласков, и во-вторых – тут оказались на античных ручках Марьи Степановны (которым могла позавидовать Лавальер) забористые коготки «матерой» Мамелефы Тимофеевны.

Граф был поражен, как начальник колена Иуды, от собственных чресл своих: он не мог отбиться от предупредительного желания угодить ему в лице Ивана Павловича. Этот

молодой счастливец в начале следующего года был представлен уже в начальники отделения. Канкрин его утвердил – хотя, впрочем, осведомился:

– Что же, разве он очень способен?

Ему отвечали:

– О да-с; он очень способен.

Министр не имел никаких причин оспаривать заключения ближайшего начальника, и Иван Павлович стал начальником отделения.

Это великий уряд в департаментской иерархии. С этого уряда начинается уже приятная положительность не только в департаменте, но и в мире. Начальника отделения уже не вышвыривают из службы, как мелкую сошку, а с ним церемонятся и даже в случае обнаружения за ним каких-нибудь больших грехов – его все-таки спускают благовидно. Начальник отделения получает позицию – он уже может пробираться в члены благотворительных обществ, а оттуда его начинают «проводить в дома». И положение его все лепится глаже и выше.

Для жены чиновника достижение мужем места начальника отделения было еще важ-

нее. Теперь это значительно изменилось, потому что иерархия вообще расслабела и потеряла престиж, но тогда и женщины ее знали и соблюдали. Все жены лиц низшего положения иначе не назывались, как «наши чиновницы», ниже которых были одни курьерши, а с жен начальников отделений уже начинались «наши министерские дамы». Эти уже не ходили на Пасху в приходский храм, а приезжали в «свою министерскую церковь», где их с предупредительностью провожал дежурный чиновник и подавал унесенное из канцелярии мужнино кресло; дьякон подкаждал им грациозным движением щегольски роко-чущего кадила с стираксой, а батюшка говорил: «цветите и благоухайте!»

После пасхального служения у начальниц отделения уже нередко целовали ручки даже сами директора, а взамен того мужья начальниц поздравляли лично директорш...

Это уже был «министерский круг», сопри-касающийся с «кабинетом», а не канцелярия, которая граничит с курьерской.

Иван Павлович с Марьей Степановной преодолели эти ступени, но они не думали на

них остановиться. Да, по правде сказать, это им было и невозможно, ибо, несмотря на то, что официальная часть положения была теперь в порядке, но в неофициальной многое не ладилось: дамы называли Марью Степановну «*si-devant*»[12] и немножечко от нее сторонились.

Надо было сделать что-нибудь такое, чтобы образовать свой круг и заставить отдать справедливость своим способностям, которые в самом деле были достойны внимания.

Марья Степановна кое-что придумала. Она нашла повод видеться со Скобелевым, который когда-то знал ее ничем не знаменитого отца. Старый комендант тоже был не прочь приволокнуться и обошелся приветливо с милой дамой, а она заинтересовалась его рассказами. Она вообще попробовала кое-что говорить о литературе и увидела, что в России ничего нет легче, как это. Скобелев заходил к ней пить чай и иногда излагал такие рассказы, которые не были напечатаны.

Марья Степановна чувствовала вкус к простонародности – там столько сердца, ума и юмора...



Скобелев находил, что все это есть и в самой в ней.

В самом деле: разве находка у нее нынешнего мужа в некотором роде не самая просто-народная сцена? Разве это не отдает «Москалем Чаривником»?.. Как хороша взаправду живая народная жизнь! Марья Степановна почувствовала негодование к выходкам против Белинского. Скобелев ей открыл более, и она добилась случая видеть раз знаменитого критика. Потом у ней пил чай и что-то читал Николай Полевой, и кто-то с кем-то спорил о славянофилах и о необычайном уме молодого Хомякова.

Это произвело свое действие: «министерские дамы» изменили неглижированную прерзительность на сосредоточенную сухость, в которой одновременно ощущались и надмение и зависть.

С таким недоброжелательством со стороны искренних уже можно было жить.

Марья Степановна пошла пожинать плоды умного посева.

## Глава тринадцатая

**М**арья Степановна, разумеется, не могла любить литературу, а имела ее лишь только для своих практических целей. Литература представляет большое удобство, когда хочешь говорить о чем-нибудь, а не о ком-нибудь, – так, однако, чтобы это было для нас полезно. Она усвоила две-три мысли Белинского, знала какое-то непримиримое положение Хомякова и склонялась на сторону Иннокентия против Филарета. Словом – впала, что называется, в сферу высших вопросов.

Это дало ей апломб и заставило многих кивать головами: «чем-то это кончится?»

Иван Павлович уже был сделан вице-директором. Полагали, что это по жене, у которой такие прекрасные, хотя, быть может, и не безопасные знакомства.

Только она уже очень рисковала. Граф Канкрин был человек довольно свободных взглядов, однако сказывали, что и он, подписывая назначение Ивана Павловича вице-директором, поморщился.

Но судьба Ивану Павловичу служила с

невероятною преданностью: как нарочно, случались такие дела, что надо было командировать туда и сюда лиц способных и достойных, и всякий раз министру представляли для таких дел Ивана Павловича.

Это было очень неприятно Канкрину, и он одно представление отложил в сторону, – сделать было неудобно; но через несколько дней граф был на одном музыкально-литературном «soirée intime», [13] куда гости попадали не иначе, как сквозь фильтр, – и вдруг там, в одном укромном уголке, граф встретил скромную женскую фигуру, которая ему сделала глубокий поклон с оттенком подчиненности и иронии и произнесла только одно слово:

– Excellence! [14]

Граф не ожидал ее здесь встретить и, немножко взволновавшись, взял ее за руку и сказал:

– Ах, мой друг, – ведь уж для него много сделано – что же такое нужно, чтобы я еще сделал?

– Только не мешайте.

Граф улыбнулся и отвечал:

– Это напоминает комедию: «Одно слово

министру». – Ну, хорошо: я подпишу.

И он подписал Ивану Павловичу новое повышение.

Сила ее над графом была доказана. Пусть он и морщится, когда ему представляют Ивана Павловича, но в общем сочетании различных комбинаций все-таки приятно. Вскоре к протекции Марьи Степановны стали прибегать сторонние люди, имевшие в графе надобность по делам, и, престранная вещь, – тоже выходило успешно...

Было ли это случайное совпадение обстоятельств или нет, – в этом трудно было разобраться.

Пошло какое-то жужжанье, в котором мешали всё, упоминая что-то и про Иннокентия и про Хомякова, – и вдруг также что-то такое про взятку...

Словом, являлось острое положение, в котором надо – как говорят игроки – «квит или двойной куш».

Марья Степановна повела на двойной куш, и об Иване Павловиче в самую неожиданную минуту последовало новое представление графу к повышению.

Граф вскипел.

– Что такое!.. куда его еще!.. И притом я что-то слышал...

Представлявший отлично знал, с кем имеет дело, и хорошо нашелся.

– Да, – отвечал он, – я знаю, что говорят: это очень жалко, но это не его вина, – а вина его жены, которая увлечена идеями славянофильства Хомякова...

Славянофильство графу было противно.

– Что такое? Какие хомяковские идеи? Это что-то про сорок мучеников... Я в этом решительно ничего не понимаю. Оставьте у меня бумаги.

Но тотчас же где-то и как-то опять является «она, прелестной простоты полна», и даже без «excellence», а с одним поклоном, и дает делу желанное направление.

Увидав ее в высоком круге, граф захотел во что бы то ни стало раз и навсегда избавиться и от нее и от ее мужа самым решительным приемом.

Он сам с нею остановился, сам взял ее за руку и сказал:

– Я все, все сделаю, но другим образом.

Марья Степановна отвечала:

– Я всегда верю вашему рыцарскому слову.

## Глава четырнадцатая

Дело о карьере Ивана Павловича приходилось завершать – только бы не быть более с ним вместе.

Граф сделал комбинацию. Другое лицо большого положения – граф Панин имел надобность в услуге министра финансов.

Канкрин ее сделал скоро и охотно, а чрез некоторое время явился просить за подчиненного, которого заслуг он не в силах совместить с ограниченностью персонала по своему ведомству.

Граф Панин пожевал и отвечал, что «совмещать» многое очень трудно, и свободнее других это может разве Перовский, у которого не перечесть сколько хороших мест, находящихся в его власти.

Перовский это и сделал, а Канкрин, подписывая бумагу о согласии на перевод Ивана Павловича в другое ведомство, совсем неожиданно для предстоявших перекрестился по-русски, как сам Хомяков, и сказал:

– Это, как там говорят, «нынче отпускаеши». Наконец я не буду опасаться, что мне представят, чтобы я его утвердил начальником самому себе.

Так все были введены в обман и думали, будто, представляя Ивана Павловича, делали графу неописанное удовольствие, тогда как это было совсем напротив.

Но собственно «отпущения» графу все-таки не было. В Петербурге поняли, что в услужливости ему в лице Ивана Павловича было много ошибочного, но в провинции, куда этот карьерист поехал большим лицом и где первенствующее положение Марье Степановне уже принадлежало по праву, они были встречены иначе. В оседавшее тесто словно подпустили свежих дрожжей, и оно пошло подниматься на опаре.

Марья Степановна слыла всемогущею по своему прежнему положению и совмещала теперь это с выгодами нового положения: она стояла выше того, чтобы ее подозревать в искательности: она говорила словами Белинского «о человеке нравственно-развитом», следила за Хомяковым, беседовала с Иннокен-

тием и... брала самые отчаянные взятки даже по таким ведомствам, которые были чужды непосредственному влиянию ее мужа. Все думали, что в ее лице заключается всеобщее надежное «совместительство».

С кем она делилась тем, что взимала, – это была ее тайна, но граф напрасно думал, будто его решительная мера отстранения совместителей от непосредственного участия в ведомстве освободила его на самом деле от их влияния.

– Совместительство, как лезть, может являться в разнообразных формах, и где не промчится зверем рысучим, там проползет змеею или перепорхнет легкой пташечкой. Надо свет переделать или, другими словами, приучить людей, чтобы они в каждом деле старались служить делу, а не лицам. Вот это поистине прекрасная задача, и добром вспомнется имя того, кто ей с умением служит.

Так закончил свой рассказ правдивый и умный человек, со слов которого мною теперь передана вышеизложенная историйка «о совместителе».

*Впервые напечатано – журнал «Новь»,*



1884.

# Старинные психопаты

*Что взаправду было и что миром сложено – не распознаешь.*

*В. Даль*

Полагаю, что редко кому не приводилось слышать или читать рассказ о каком-нибудь более или менее любопытном событии, выдаваемый автором или рассказчиком за новое, тогда как новость эта уже давно сообщена другими в том же самом виде или немножко измененная. И читать и слышать такие вещи бывает досадно. Еще досаднее, когда случится самому принять такой рассказ за действительную новость и потом неосторожно передать его – как происшествие, бывшее с приятелем или знакомым, живущим будто там-то и там-то. И вдруг оказывается, что все это или было когда-то очень давно, в Нормандии, с бароном, который имел большую слабость к псам и жил с деревенской простотою, или же и вовсе этого никогда еще нигде не было. Такие смешные, а отчасти иногда и неприятные казусы бывали, я ду-

маю, с каждым; но частный человек, не занимающийся литературой, не знает, как легко можно подпасть тому же самому при литературных занятиях и во сколько досаднее и обиднее попасться с этим не в устной беседе, а с записью «черным по белому». Между тем в последнее время, бог весть по каким причинам, в нашей литературе беспрестанно начинают встречаться сказания о таких историях, которые уже давно оповеданы.

И еще того удивительнее – замечаются случаи, когда вымышленный рассказ после весьма небольшого промежутка времени объявляется за действительное событие или с маленькими изменениями пересказывается заново как факт, имевший будто бы действительное бытие в другом месте.

В первом роде мы не раз доходили до повторения заново старой выдумки об «иперболе», поедавшей много сена, а во втором – я могу указать два лично меня касающиеся случая: первый был с моим «Сказом о тульском косом Левше и о стальной блохе», а второй – с рассказом «Путешествие с нигилистом». Оба эти рассказа несколько лет тому назад мною

выдуманы и напечатаны – первый в «Руси» И. С. Аксакова, а второй – в «Новом времени» А. С. Суворина: но «Левшу» критики объявили историей, которая им будто давно была известна, а с «Путешествием с нигилистом» случилось нечто еще более странное. Этот последний рассказ состоял в том, что несколько человек, едучи в вагоне железной дороги, вели будто беседу о различных страхах и мало-помалу наэлектризовались до того, что сами начали всего бояться. Вдруг им стал казаться подозрительным молчаливый пассажир, перед которым на лавочке помещался маленький чемодан. Отчего этот господин все молчит? Что это за поведение? Зачем перед ним стоит чемоданчик? Что у него в этом чемодане? Может быть, это и есть «трах-тарарах»? И наверное так... Даже не может быть иначе... Иначе он сдал бы чемоданчик в багаж – и тогда столь очевидная опасность для всех пассажиров значительно уменьшилась бы...

Пассажиры обеспокоились и посылают к незнакомцу депутата с вежливой просьбой удалить проклятый «трах-тарарах» из вагона.

Посол говорит: «Не желаете ли вы сдать этот чемодан в багаж?» Пассажир отвечает: «Не желаю». — «А! в таком случае мы к начальству». Кондуктора, жандармы, станционные—все приступают с вопросом: «Не желаете ли сдать», — но пассажир всем дает один ответ: «Не желаю». И голос у незнакомца недобрый, и тон подозрительный, и вид ожесточенный. Все решают, что это «нигилист». Его берегут, глаз с него не спускают и, наконец, у городской станции требуют, чтобы он вышел. Он выходит очень охотно, потому что ему тут и надо было выйти, но чемодана брать не хочет. «Не желаете ли взять с собою этот чемодан?» Он отвечает: «Не желаю». Его ведут к допросу, спрашивают, кто он такой, и узнают, что он «прокурор судебной палаты», а чемодан оказывается принадлежащим еврею, который скрывался без билета под лавкою. — Картина. Все успокоиваются, смеются и едут далее... И вдруг все это вымышленное мною шуточное событие будто бы повторяется в действительности, и где же? — в Италии с председателем окружного суда из Равенны, проезжавшим через маленький городок Фор-

ли. Есть кое-какая перемена в лицах и обстановке, сообразно условиям местности, но вся фабула та же.

Узнав об этом 11-го января из «Новостей», я не только изумился, но даже испугался...

«Как, – подумалось мне, – неужто и до того должно было дойти, что „оскудение“ ощущается уже не в области литературного вымысла, но даже в самой жизни, изобретательность которой всегда почиталась столь разнообразною и неистощимою. Неужто и она вдруг притупела, и вместо того, чтобы постыждать нас бледностию наших измышлений перед живостью истинных событий, она нисходит до того, чтобы разыгрывать на своих клавишах несовершенные наброски нашей композиции... Но однако, к счастью, еще не утрачено право думать, что это не так, – что действительная жизнь наших литературных фантазий не разыгрывает, а совпадение, какое случилось в Италии после моего рассказа, придумано, быть может, знакомым с русским языком немецким корреспондентом».

И мне стал припоминаться целый рой более или менее замечательных историй и ис-

ториек, которые издавна живут в той или другой из русских местностей и постоянно передаются из уст в уста от одного человека другому. Большинство из них пользуется репутацией самых достоверных событий и сообщается с указанием собственных имен, места и времени событий. Рассказы эти ведутся так, что усомниться в справедливости их часто значило бы оскорбить не одного рассказчика, но всю местную публику, разделяющую его верования, а между тем верить в действительность упоминаемых событий очень трудно и иногда даже совсем невозможно.

Между тем все подобные истории должны быть дороги литературе и достойны сохранения их в ее записях. Эти истории, как бы кто о них ни думал, – есть современное продолжение народного творчества, к которому, конечно, непростительно не прислушиваться и считать его за ничто. В устных преданиях или даже в сочинениях этого рода (допустим, что есть чистейшие сочинения) всегда сильно и ярко обозначается настроение умов, вкусов и фантазии людей данного времени и данной местности. А что это действительно так, в том

меня достаточно убеждают записи, сделанные мною во время моих скитаний по разным местам моего отечества. Так, например, в преданиях (или, пожалуй, в вымыслах) малороссийских всегда преобладает характер *героический*, напоминающий сродство здешней фантазии с вымыслами польских сочинителей апокрифов о «пане Коханку», а в историях великорусских и особенно столичных, петербургских, – больше сказывается *находчивость*, бойкость и тонкость плутовского пошиба. Очевидно, фантазия людей данной местности выражает их настроение и, так сказать, создает сама себе своих козырей для своей игры. Но замечательно, что все эти козыри, как герои, так и плуты, – все в своем роде выходят как будто в свою очередь тоже и «*психопаты*».

Я очень ценю такие истории, даже и тогда, когда историческая достоверность их не представляется надежною, а иногда и совсем кажется сомнительною. По моему мнению, как вымысел или как сплетение вымысла с действительностью – они даже любопытнее. Я передам здесь некоторые из них не только за-



тем, чтобы сохранить эти памятники общественного творчества, но и для того, чтобы вызвать некоторым из них этим путем проверку. Быть может, то, что мне кажется невероятным, или сочиненным, или заимствованным из каких-то посторонних источников, – происходило и на самом деле, но только переиначено и преувеличено. Кто-нибудь из местных людей может отозваться к моим записям и поправить их сведущими сообщениями, и тогда пред нами предстанет ряд житейских курьезов, которые до сих пор не переходят за границу своих местностей.

Я начну с *героического* – с рассказов мало-российских, в которых более грандиозного, наивного и, как мне кажется, преувеличенного, но во всяком случае весьма своеобразного.

# Эпопея о Вишневском и его сродниках

*Вот вам помещик благодатный.  
Из непосредственных натур.  
И. Тургенев*

## Глава первая

**В** Переяславском уезде, Полтавской губернии, был помещик Иван Гаврилович Вишневский. Он получил от щедрот императрицы Елисаветы Петровны большое имение по обоим берегам реки Супоя (реки Удай и Супой отмечены в одной географии «неспособными к судоходству по множеству пороков»). Имение это состояло из двух больших деревень, из которых одна называлась Фарбованая, а другая Сосновка.

Старый пан Иван Вишневский жил и умер в этом имении, а после его смерти Фарбованая и Сосновка достались сыну его, Степану Ивановичу Вишневскому, который оставил по себе героическую известность – может быть, сильно дополненную и разукрашенную домыслами во вкусе местной фантазии.

Степан Иванович был атлет и богатырь, а притом также хлебосол, самодур и преужасный развратник, но имел образование. Он был одним из тех молодых людей, которых императрица Екатерина посылала в Англию «для просвещения ума и сердца».

По возвращении из Англии он поступил на службу в конногвардейский полк, но как только дослужился до чина поручика – вышел в отставку, женился на тверской дворянке, девице Степаниде Васильевне из рода Шубинских, и поселился в Москве в собственном доме.

Делать Вишневному здесь было нечего, и он начал «чудить».

Прежде всего он надумал импонировать москвичам своей хохлацкой «нацией». Он не хотел никого знать – одевался по-хохлацки, много пил «запридуху» и ел, будто, одно только медвежье мясо.

Императрице доложили, что Вишне夫斯基 «не соблюдает светских приличий», и тогда самодуру было сделано замечание. Он решился исправиться и с этою целью вытребовал себе из Малороссии в Москву хохлацкую телегу

с парюю волов и парубка, который умел этими волами править. А как только наступил день обычных и для всех видных лиц в столице обязательных визитов, Степан Иванович собрался «объезжать всех именитых людей с визитами». Но выехал он не налегке, в одном экипаже, а с целым поездом. Впереди скакал жокей на кургузой английской кобыле, за ним следовала цугом запряженная прекрасная карета, в которой сидел камердинер, а за каретою ехала телега или хохлацкий «воз», заложенный парюю сивых круторогих волов, и на этом возу помещался пан Степан. Он сидел, как обыкновенно садятся малороссийские крестьяне – то есть посередине телеги, на кучке раскинутой ржаной соломы, и курил с флегматическим спокойствием коренковую трубку излюбленного хохлацкого фасона. Волами правил хохол в затрапезных шароварах «ширше облака», в дегтярной рубахе с прямым воротом, в «тяжких чоботах» и в высокой смушковой шапке. Хохол шел около волов с батогом и придерживал их за ременный нальгач, «щоб ни злякались як торохтыть город», а сам покрикивал где надо: «цо-

бе», а где надо: «цоб».

Жокей имел список особ, которых должен был посетить этот задичавший европеец. Справляясь с списком, жокей скакал вперед и, прискакав на двор стоявшего в списке вельможного лица, возвещал:

– Мій пан іде!

А когда поезд показывался, жокей оборачивался к нему лицом и опять в голос кричал:

– Ось сам пан Вишневськи приїхав!

Тогда карета останавливалась у крыльца, из нее вылезал камердинер Степана Ивановича и шел спрашивать, угодно ли хозяевам принять его господина?

Если Вишневского принимали, – тогда карета отъезжала далее, а к крыльцу подъезжал «воз» на паре волов, и Степан Иванович входил в покои и щедро одарял всю попадавшуюся ему на глаза хозяйскую прислугу. В апартаментах он вел себя барином и европейцем, щеголяя прекрасными манерами, отличным знанием языков и острою едкостью малороссийского ума.

«Бо був собі шутковатій, и знав усе по-

хрянцузські и по-вложски и на усі язyki умів хвалыть господа. Але тылько до того був лінивий».

## Глава вторая

Ел Вишневский, как выше сказано, будто бы только одну медвежатину и для того содер-жал в одном из тверских имений жены «медвежий питомник». Медведей там кормили и доставляли в Москву, к столу Степана Ивановича. К полиции Вишневский имел врожденную и непобедимую ненависть, и ни один полицейский не смел отважиться войти к нему во двор, не рискуя натерпеться всяческих обид, если только попадетя на глаза Степану Ивановичу. Дом Вишневого в Москве для полиции был недоступен и, по тому ли или по другому, скоро получил себе весьма таинственную и несколько нелестную известность. Более всего ей помогали безнравственные инстинкты Вишневого по отношению к женщинам, или, пожалуй, точнее сказать, к детям женского пола. Полиция, в свою очередь, ненавидела Степана Ивановича и подыскивала случаи ему отомстить за его невежества, но долго никакого удобного к то-

му основания не находила. Наконец, однако, к тому представился случай: один раз дворная собака вытащила на улицу и обронила не совсем еще лишенную мускульных связей пясть, которая была признана стопою небольшой человеческой ноги. Через несколько дней это еще раз повторилось. За собакою подсмотрели и увидали, что она таскает эти кости из мусорной ямы. Прислуга соседних домов стала говорить, что Вишневский производит бесчинства над своими крепостными девочками и потом будто бы их убивает. Скоро стали производить счет девочкам, будто бы безвестно пропавшим, и даже называли их по именам.

Полиция не только усмотрела в этом достаточный повод вмешаться в дело, но даже сочла это своею прямою обязанностью, — что и в самом деле так было. С этою целью на двор Степана Ивановича явились пристав и квартальный и приступили к осмотру той ямы, откуда собака таскала подозрительные кости. Верные слуги Степана Ивановича не позволили полиции приступить к осмотру, не известив своего «пана». Степан Иванович на-

дел архалук, сам вышел к полицейским и велел им открыть яму. Там, к радости полицейских, нашли множество таких точно костей, какие послужили поводом к подозрению, но тут же было доказано, что это отнюдь не ступни человеческих ног, а лапы убитых для стола Вишневого молодых медвежат.

Полицейские сконфузились и начали извиняться перед Степаном Ивановичем, говоря, что они были вовлечены в ошибку сомнениями и ложными слухами.

Вишневский их извинил и... тут же отстал кнутом.

Эта острая выходка имела для него последствием то, что ему велено было оставить Москву и жить в малороссийских деревнях, пожалованных его отцу Ивану Гавриловичу от щедрот императрицы Елисаветы Петровны.

Вишневский должен был подчиниться сказанному требованию и переехал в Переяславский уезд в Фарбованую, чтобы колобродить там еще на большей свободе.

Случай с медвежьими лапами приписывается московскими рассказами несколькими



лицам, и Степану Ивановичу Вишневному он усвоится только одними малороссийскими преданиями, сложившимися преимущественно по равнинам, орошаемым реками Удаем и Супоем. Что же касается визитов по Москве на паре волов, то в этом роде как будто что-то было, но в московских преданиях об этом мне никогда не удалось услышать о такой оригинальной выходке ни малейшего воспоминания. На этом основании рассказ этот, кажется, должно считать сомнительным; но между обитателями равнин Удая и Супоя много охотников крепко стоять за справедливость этой истории, и на все доводы о том, что это ничем не подтверждается в Москве, они с самоуверенною презрительностью оттопыривают свои толстые казацкие губы и говорят:

– От тоже, – захотілы вы на Москві правду шукать!

### **Глава третья**

**К**огда Степан Иванович Вишне夫斯基 поселился в своих малороссийских маестностях, то он себе построил дома в обеих деревнях, по обе стороны достославного Супоя – в

Фарбованой и Сосновке. При обоих домах, отремонтированных на широкую барскую руку, содержались обширные штаты прислуги, выезды охоты, конные заводы и гаремы, которыми, впрочем, Степан Иванович не довольствовался и пользовался еще широко своими правами падишаха на всех женщин своего подданства. Жил он попеременно то в одном своем имении, то в другом и везде содержал раз установленные им своевольные порядки. Он считал себя в полнейшем праве приводить всех, как он выражался, «в свою крещеную веру» – и свободно и беспрепятственно достигал всего, чего желал достичь.

Между всеми прихотями его своенравия и здесь прежде всего обозначилась ничем не усмиряемая ненависть Вишневого к полиции. Как только он приехал в деревню, так тотчас же сделал распоряжение, чтобы ни исправник, ни пристава и никто из чиновников не смели ездить по его владениям с колокольчиками. Крестьянам было приказано, чтобы они останавливали каждого, кто едет с колокольчиком, и осведомлялись – кто он такой. Если проезжающий был дворянин или вооб-

ще частное лицо, то его было велено отпустить и при этом говорить, что земли, по которым он едет, принадлежат пану Вишневскому и что этот пан «любит и шанует» честных гостей – для чего проезжающих и приглашали «до господы», чтобы «отпочить с дороги», то есть отдохнуть от путевых трудов и «откушать панского хлеба-соли». Если проезжающий торопился и не хотел заезжать «на гостинци», а учтиво благодарил, то его насильно не задерживали, а так же «учтиво» позволяли следовать далее и не возбраняли звонить колокольцем. А если проезжий не спешил и изъявлял согласие заехать к пану, то его провожали в Фарбованую или Сосновку, смотря по тому, в которой из этих деревень жил в то время пан Вишневский.

Степан Иванович встречал всех таких гостей радушно, не разбирая их чинов и званий, и угощал их по-тогдашнему роскошно и обильно – иногда даже слишком обильно, так что иные от его хлебосольства даже занемогали. Но приневоливания ни в пище, ни в питеи не было, а только все предлагалось «до отвалу», и если кто-нибудь себя превозмогал

до излишества, то в этом вины и насилия со стороны Вишневого не было, а всякий неосторожный гость должен был пенять на самого себя и безропотно казнил за свою неумеренность.

Многим из гостей, которые оказывались людьми нуждающимися, Степан Иванович даже оказывал значительное пособие, а офицерам всегда любил дарить что-нибудь ценное на память. И такой широкий обычай был причиною того, что его ласка и хлебосольство делали его очень милым и любезным. Но чуть только дело касалось чиновников и особенно полиции – Степан Иванович являлся по отношению к ним самым грубым тираном, и требования, какие он простирает к этим несчастным лицам, были в такой степени суровы и для них унизительны, что даже трудно верить – как они могли им подчиняться и не находили средства оградить себя от фарбованского причудника.

Как только исправник или пристав подъезжали к граничной меже владений Вишневого, они должны были остановиться и подвязать язычок колокольчика, чтобы он не

звонил. Иначе крестьяне останавливали блюстителя порядка, должны были *отвязать* колокольчик и немедленно отнести его в господский дом к самому пану. Сопrotивление со стороны полицианта угрожало ему двойною опасностью – быть побитым от крестьян, которые могли производить это в «панскую голову», то есть на ответственность самого помещика, а потом виновного отвели бы к «пану», у которого всякого полицейского по меньшей мере ожидал невероятно унижительный, но с неупустительною строгостью соблюдавшийся особый церемониал.

Покорный и непокорный, честный или притязательный полицейский чиновник был у Степана Ивановича «в одном расчислении». В честность их он, впрочем, нимало не верил и, кажется, на этот счет не очень сильно ошибался. Правилom его было то, что *никакой* чиновник ни для какой надобности и ни под каким предлогом не мог переступить через порог его дома. Если исправник или пристав имели к нему служебную надобность или вынуждены были явиться к нему с какою-либо претензией или просьбою, то они знали, что

должны ехать по его владениям «без звона», как можно тише и останавливаться у околицы, – отнюдь не смея въезжать на лошадях в его усадьбу. По усадьбе и по двору они обязаны были идти пешком и, сняв шапку у ворот, проходить мимо окон дома не иначе, как с открытою головою.

Иначе, при малейшем нарушении этого правила, надрессированная прислуга сейчас же взяла бы их под локти и заворотила назад, «наклав им при сем добре по потылице». А так как это соблюдалось крепко и верно, то никто и не смел думать ослушаться и сопротивляться. На этом, однако, унижения еще не кончались: чиновник не допускался далее крыльца, под которым жили огромные меделянские собаки. Здесь чиновник должен был стоять и ожидать, пока Степан Иванович вышлет к нему «комнатного казака», то есть, просто говоря, лакея. С лакеем чиновник должен был «поздороваться вровнях», то есть подать лакею руку, и затем только мог изложить тому же лакею цель своего приезда к пану.

Если Вишневному казалось, что надоб-

ность, за которою приехал чиновник, не стоит внимания, то он приказывал «прогнать его вон». А если надобность была какая-нибудь дворянская или объявление ему чего-либо из высших сфер, то Степан Иванович надевал на себя бекеш, шапку, сам выходил на крыльцо и выслушивал чиновника, стоя к нему все время боком и никогда не глядя ему в лицо.

Затем Вишневский молча уходил, а лакей подавал чиновнику на тарелке рюмку водки и пятидесятирублевую ассигнацию. Чиновник должен был выпить водку и потом взять себе на «закуску» пятьдесят рублей (хлеба-соли в их натуральном виде чиновникам в доме Вишневского не предлагали). Если же чиновник, паче чаяния, как-нибудь высоко о себе мнил и не стал бы выпивать вынесенной ему на крыльцо рюмки водки, то он не мог получить и денег, положенных на закуску. В таком «Случае лакей должен был *столкнуть* его с крыльца и водку выплеснуть ему в спину, а закусовые пятьдесят рублей взять себе в свою пользу и дернуть за веревку, а эта веревка шла к железной клямке от двери, за которою сидели под крыльцом медеянские со-

баки.

Зная все это, чиновники никогда не отваживались обнаруживать хотя бы самомалейшее сопротивление установлениям Степана Ивановича и... даже были очень рады, когда им встречалась надобность появиться на крыльце фарбованского пана.

Если все это несомненно так, как гласят предания, то пятьдесят рублей на закуску, очевидно, имели тогда свою высокую цену.

### **Глава четвертая**

**В** отношении целомудрия и нравственности вообще Степан Иванович слыл человеком бесцеремонным и притом самым наивным. Впрочем, в этих отношениях он имел себе очень много подобных и равных, но в его героической эпопее в этого рода делах чрезвычайно оригинально представляется роль его супруги Степаниды Васильевны, рожденной Шубинской, которую тоже, кажется, есть полное основание называть психопаткою – хотя, впрочем, в ином роде.

Она была, как выше сказано, тверская дворянка и образованная барыня из очень хорошего рода. Супруга своего она любила и жила



с ним всегда в постоянном согласии. От союза ее с Степаном Ивановичем у нее были две дочери, из которых рождение второй было очень неблагополучно, и Степанида Васильевна сделалась „навек не человек“. Степан Иванович стал с нею сепаратничать: если она жила в Фарбованой, он уезжал в Сосновку, а если она была в Сосновке, то он съезжал в Фарбованую. Видя это и, как говорила Степанида Васильевна, „любя своего мужа“, она стала прилагать всякие заботы, чтобы он „от нее не удалялся“ и чтобы ему и при ней „жить было не скучно“. С этою целью она устраивала у себя девичьи посиделки, на которые девушки шли неохотно и со слезами, но Степанида Васильевна их обласкивала и угощала до тех пор, пока те освоивались и переставали плакать. Тогда Степанида Васильевна писала мужу и приглашала его к себе „прибыть, на девиц полюбоваться“. А он ей отвечал: „Очень тебя благодарю и заботы твои обо мне ценю, а впрочем, в главном выборе я на твой вкус больше, чем на свой собственный, полагаюсь“.

Такой ответ мужа не только радовал, но и

умилял Степаниду Васильевну. Чувства ее к Степану Ивановичу горели сугубым пламенем, и она ему вскорости же опять нетерпеливо отписывала: „За доверие твое, бесценный друг мой, весьма тебя благодарю, и в рассуждении моего вкуса, в чем на меня полагаешься, от души тебе угодить надеюсь, но только прошу тебя, ангел моей души, – приезжай ко мне сколь возможно скорее, потому что сердце мое по тебе стосковалось, и ты увидишь, что я не об одной себе сокрушаюсь, но и твой вкус понимаю. Дети наши обе здоровы и тебе кланяются и целуют ручки“. Подпись: „Твоя верная жена и раба Степанида“.

Степан Иванович, получив такое послание, оставлял отдельное житье и приезжал к супруге, которая вполне достигала того, что ему „жить в одном доме с нею становилось нескучно“.

Она не только ласкала и нежила ею же избранных для своего мужа фавориток, но нянчила и выхаживала его детей, которых при таком патриархальном порядке панской жизни в Фарбованой народилось очень много.

Сам Вишневский далеко не был так чисто-

сердечен и искренен, как его жена: когда растленный нрав Степана Ивановича начинал прискучать тою особою, которая была призвана к обязанности „делать его жизнь нескучною“, Вишне夫斯基 начинал собираться „пожить один в другой деревне“.

Степанида Васильевна это тотчас же поняла и хотя не перечила мужу, так как мир и согласие супружеское она, по завету предков, ставила выше всего на свете, но через некоторое время она опять устраивалась и писала ему тихое и ласковое письмо, где говорила: „Хитрости твои и твоя со мною в важных делах неоткровенность очень меня, мой друг, огорчают и терзают, потому что я их ничем не заслужила. Бог видит мою правду и истину, что люблю тебя больше всего на свете, и от разлуки с тобой сердце мое по тебе иссушается как трава, но горячая слеза текущая не высыхает. А ту особу, которая незанимательностию своею тебя утомила и прискучила, я своим рачением без больших хлопот совершенно устроила, и все они нынче своим положением теперь вполне довольны и благодарят. А ты бы если поспешил ко мне, то мог бы

теперь полюбоваться на очень приятные лица. Дети же наши обе благостию божию хранимы, – живы и здоровы и об отце своем молятся“. И опять та же подпись: „жена и раба“.

В ответ на это от Вишневого следовали комплименты жене, с повторением полного доверия к ее вкусу, и затем Степан Иванович вскоре возвращался под семейный кров. Его ждали, разумеется, тимпаны и лики, ласки и восклицания, и телец упитанный, и все, все, что было нужно, чтобы сделать его счастливым, как он желал и как это могла устроить его нежная-пренежная жена, которая имела несчастье из живой и очень милой женщины стать „навек не человек“.

## Глава пятая

После описанных уже перипетий Степан Иванович исправился в отношении своей скрытности и недоверия и никогда не прибегал более к хитростям сепаратной политики.

Степанида Васильевна, по словам крестьян, „доглядала его, як маты свою дытыну“.

Невероятная, примитивная простота этих отношений, напоминающая собою библейский рассказ о Сарре и об Агари, становится

еще невероятнее, если дать веру частностям, которые рассказывают о житее этих супругов.

Степан Иванович был какой-то чистый ту-рок. По отношению к своим многообразным привязанностям он совмещал в себе все роды любви, от мимоходных неосторожностей до привязанностей к одалискам и к первой султанше. Мимоходное, конечно, ни во что не ставилось и не подлежит счету; а роль первой султанши, разумеется, занимала его законная жена, которую он со своей стороны тоже, пожалуй, по-своему любил, и во всяком случае уверял, будто очень ее „уважает“.

– Если кто сделает что-нибудь против меня, – говорил он, – то это я еще, пожалуй, могу простить, но если бы кто-нибудь только помыслил вслух сделать что-нибудь к обиде Степаниды Васильевны, то кто бы он ни был, я везде его достану, и сам царь Иван Васильевич не выдумал такой казни, какою я рассказню грубияна бесценной жены моей.

Все это знали и знали тоже, что Степан Иванович не шутит и что говорит, то и выполнит, и потому никому и в голову не приходило обнаружить хоть малейший признак

неповиновения или ослушания Степаниде Васильевне. Но не все одинаково разумели такую ревнивую заботу Вишневого о жене, и между тем как один приписывал ее безмерной его к ней нежности – другие усматривали в этом хитрость, которая и в самом деле была в значительной мере доступна хохлацкой натуре Вишневого. Думали, что он „нагонял страх“ всем за жену более для того, чтобы ее требования к услаждению его жизни любовью крепостных одалисок не встречали ни малейшего противоречия, так как всякое са-момалейшее ослушание ей он наказал бы так, что царь Иван Васильевич во гробе бы содрогнулся.

Впрочем, было это так или иначе, с положительностью сказать невозможно, но есть положительные рассказы, что, крайне развращенный и до жестокости бесцеремонный в своих мимоходных делах, Степан Иванович любил вносить своеобразную поэзию в свои отношения с одалисками, избранными для него на вкус его первой султанши. И он умел достигать этого без всякого принуждения своей натуры, в которой обнаруживалось в этих

случаях нечто нежное и чувствительное. Он, подобно Дон-Жуану, мог похвалиться, что не только не оскорблял молодые существа грубостью, но даже „никогда не обольщал с холодностью бесстрастной“. Нет, он приезжал в дом жены, где ее любовь приготовила ему утеху, с нежною ласковостью, и оба супруга вместе выносили избранницу, „как соколку по зорькам“. Они ее приласкивали, наряжали, лелеяли, она жила в комнатах Степаниды Васильевны, пестро разодетая, утопая в неге и пресыщаясь лакомствами, и сама не замечала, как переходила из одной роли в другую, словно в тумане долго не сознавая того, что с нею случилось и чем это должно было окончиться. Все эти одалиски вступали в свою роль в годах едва окончившегося детства, когда еще голова бедна опытом и представления о грядущем слабы, а жизнь полная утех в настоящем заманчива. Из них многие искренно располагались душою и сердцем к своему повелителю, или по крайней мере не тяготились им, а Степаниду Васильевну даже любили, „як маты“. И она их действительно ласкала как мать и ободряла как старшая гаремная

подруга, наслаждавшаяся тем счастьем, какое младшие одалиски доставляли ее любимому падишаху. В доме жена, муж и дежурная фаворитка почти не разлучались и большую часть времени проводили втроем, но к некоторым из одалисок Степа» Иванович пристращался до того, что не мог с ними расставаться даже и на одну минуту. Вишневецкий пристращался к возлюбленной не только чувственно, но и любовно, как пылкий юноша, и, покидая дом в случаях неизбежных, брал ее с собою, переодетую казачком или арапчиком, на попечение которого будто состояли янтари его роскошных чубуков и кисет с табаком, который надобился ему беспрестанно, так как Степан Иванович курил даже ночью, и потому «трубочный мальчик» был при нем безотлучно.

Полагали, что в подобных случаях Степаном Ивановичем до известной степени руководила ревность, но это предположение не имеет основания, так как Вишневецкий, конечно, ничем не рисковал бы, если бы оставил девушку на попечение Степаниды Васильевны: и потому гораздо вернее думать так,



как передавали люди, ближе знавшие этого малороссийского психопата, — то есть, что он просто страстно влюблялся в своих фавориток и не мог с ними расставаться до тех пор, пока страсть его совершала свое течение и остывала.

И чем страстнее была привязанность к известной одалиске со стороны Степана Ивановича, тем большую нежность и заботу это лицо вызывало к себе со стороны его жены. Проходила страсть у Вишневого, и он «отъезжал за Супой», а Степанида Васильевна брала на себя заботу устроить старую «утеху» и приготовить новую, которая снова возвратила бы фарбованского пана с того берега.

Трагического в этих развязках никогда не было. Благодаря такту, сердоболию и щедрости Степаниды Васильевны все эти дела устраивались мирно и ладно, ко всеобщему удовольствию всех мало-мальски близких к девушке лиц. Исключение составлял единственный случай с пятнадцатилетнею крестьянскою девочкою, занявшею особенно сильное положение в сердце Вишневого и оставившею ему сына и неприятный след в

его воспоминаниях.

## Глава шестая

Местные предания сохранили самое имя этой стройной, «як былинка», черноокой девушки, приблизившейся к своему пану в довольно уже поздние годы его жизни. Ее называют Гапка Петруненко. Она была так хороша, «що аж очам мило було на нее дивитися», и, как показывает ее история, имела сердце чуткое и очень восприимчивую душу. Вишне夫斯基 мог обнять ее тонкий стан, ее талию перстами своих рук и так любил ее, как никакую другую, ни до нее, ни после ее пользовавшуюся его фавором. Он одевал ее в розовый атлас и в кофты, сшитые из дорогих турецких шалей, носил ее на руках и целовал ее ноги.

Видя такую неутолимую привязанность мужа к этой девушке, Степанида Васильевна тоже пестовала ее до забвения о себе и о своих дочерях, из которых старшей тогда уже шел двенадцатый год. Степанида Васильевна сама плела на день черные косы Гапочки, сама их расплетала на ночь и подкуривала ароматами, пахучий дым которых проникал густые волосы и держался в них с смолистою

силою. Она не позволяла ничьим низким рукам коснуться до ее тела и даже сама орошала крепким настоем душистых роз ее ноги, к которым на ее же глазах в страстном самозабвении припадал устами Степан Иванович. Словам, эта прелестная девушка была фавориткой из фавориток, и пребывание ее в доме Вишневских заключало в себе много от всех отменного. Степан Иванович, даже выезжая на окоту с борзыми, брал Гапку с собою и не довольствовался тем, что она, одетая черкешенкой, едет в покойном рыдване, а брал ее оттуда и возил перед собою на седле. Когда же девушка уставала от неудобного и утомительного путешествия на лошади и сон начинал клонить ее головку, – Вишневский не отдавал ее ни на чьи чужие руки, а тотчас же прекращал полеванье и бережно, на своих собственных руках, вез Гапочку домой. И боже сохрани, чтобы кто-нибудь из его свиты завел в это время какой-нибудь шум и нарушил им детский сон возлюбленницы пана!.. Виновный не миновал бы сырой ямы и ременных арапников.

Так же бережно Вишневский опускал с рук

это дитя у крыльца на руки встречавших его людей и сам сопровождал их, когда они переносили Гапку во всякой тишине в покои Степаниды Васильевны.

Здесь ее раздевали и укладывали на атласные подушки широкого турецкого дивана, на котором с краю садились и сами супруги пить чай. И во все это время они не говорили, а только любовались, глядя на спящую девушку. Когда же наставал час идти к покою, Степанида Васильевна вставала, чтобы легкою стопою по мягким коврам перейти в смежную комнату, где была ее опочивальня, а Степан Иванович в благодарном молчании много раз кряду целовал руки жены и шептал ей:

– Ты мой ангел-хранитель – я тебя обожаю!

Степанида Васильевна чувствовала и разделяла счастье мужа с способностью, быть может ей одной только свойственной по своей невероятной прихотливости.

Она уходила в спальню, долго там молилась перед лампадою и потом опять неслышными стопами входила в смежную комнату, где розовая Гапка спала, обняв крепкими молодыми руками подушки, а атлетическая фи-

гура Вишневского лежала на ковре, с головою, прислоненною к дивану, в ногах спящей девушки.

Степанида Васильевна крестила их обоих и уходила на свою вдовью кроватку, и сон ее был тих, мирен и живителен... И во всем этом странном и несогласимом, по-видимому, сочетании чувств и отношений она не видала ничего для себя унижительного и даже ничего неудобного, а напротив, ей казалось, что все идет именно так, как только может идти лучше.

Безграничная любовь этой женщины к мужу и огромное несчастье, заключавшееся для нее в условиях ее здоровья, как-то смешивались, ее нравственные понятия никому не были ясны и понятны. Передавая эти сказания в сборе отрывочных сведений из нескольких уст, я не стану и стараться пояснить личность Степаниды Васильевны Вишневской каким-нибудь более точным определением. Думаю лишь, что по нынешним временам это подходило бы к тому, что называют «психопатией». Я передаю только любопытный рассказ, как сам его слышал, и не

произношу над характерами и правилами героев этих легендарных сказаний никакой своей критики.

Я думаю, что дело главным образом теперь не в критике, от которой все именуемые здесь лица ушли уже в царство теней, а в сохранении на память потомству удивительной непосредственности их характеров и прихотливой, оригинальной их жизни.

Нам хорошо известны бурные натуры наших великорусских дворян, при которых, по выражению поэта, жизнь «текла среди пиров, бессмысленного чванства, разврата мелкого и мелкого тиранства, – где хор подавленных и трепетных людей завидовал житью собак и лошадей». Здоровое, реальное направление нашей русской литературы, быть может порою заслуживающей и укоры за излишний реализм, показало нам нашу великорусскую жизнь налицо. Мы знаем, каковы наши «ветхие мехи», затрещавшие при игре влитого в них молодого вина; но писатели малороссийского происхождения не следовали нашему, может быть единственно полезному в настоящее время, литературному направлению.

Жизнь малороссийского козырного барства от нас скрыта романтизмом или крайним протонародничеством малорусских писателей. Если она где-нибудь изредка и представляется, то почти всегда в напыщенных формах, напоминающих бесконечные польские истории о «пане Коханку». Меж тем малороссийское барство имеет свою оригинальность, которая стоит изучения и которая в то же время способна проливать довольно яркий свет на те особенности малороссийского характера, какие, по замечанию Шевченко, представляют миру «славніх прадідов вельких прауноки погани».

Небесполезно посмотреть на представителей той серединной генерации, которая лежит пластом между «прадідами и прауноками» – между теми, которых национальный поэт величал «велькими», и теми, которых он считал за «поганых». Перед нами теперь фигуры, стоявшие на водоразделе этих двух главных течений, из которых одно несло будто на себе малороссийский край к незапятнанному величию, а другое повлекло его к неисправимому «поганству».

В мире «все причинно, последовательно и условно», и потому в цепи могут изменяться фасоны звеньев, но тем не менее все-таки звено за звено держится и одно к другому непременно находится в соотношении.

Собирая в одну запись то, что мне приводилось слышать о Вишневском и его сродниках, я думаю, что я сберегаю этим литературе звено чего-то пропущенного и до сих пор сохранившегося только в одних преданиях. Пусть они и не совсем верны, но даже и в таком случае они интересны – как местное народное творчество, указывающее, что поражало и что вдохновляло людей с фантазией, или что им нравилось.

Продолжаю о Вишневском.

За несколько строк пред сим мы оставили могучего фарбовановского пана спящим на ковре у ног своей сельской нимфы. Оставим их и еще в этом положении, изящнее и поэтичнее которого, кажется, не было в его своеобразной, безалаберной и невесть чему подобной жизни. Пусть они, как малороссы говорят, «отпочнут» здесь сладко до зари того дня, который омрачил их счастье и спокой-



ствие и в чашу любовных утех пана выжал каплю горького омега.

Ниже мы встретим случай, при котором будет место изложить это происшествие, составлявшее высший, кульминационный пункт душевных страданий и нравственного возбуждения Вишневого, – вслед за чем опять пошли своим чередом любовные сменя, не захватывавшие выше того, что нами уже описано, но зато не оставлявшие Степана Ивановича до самой его смерти.

Очеркнем теперь, как можем и как умеем, другие стороны его деятельности и характера.

## **Глава седьмая**

**К**ак отец и как воспитатель Вишневский ни в одном из слышанных мною о нем рассказов не занимал никаких характерных положений, а упоминается только как *родитель*. Впрочем, говорят, что когда в Петербурге «заводились институты» и именитое дворянство, по желанию государыни, получило приглашение привозить туда для воспитания девиц, то Степан Иванович ездил в Петербург и сам отвез туда дочь. Но и это обстоятельство воспоминается не для того, чтобы обозначить

ею родительскую заботливость Вишневого, а потому, что эта поездка оказалась в связи с другим любопытным событием, о котором ниже будет рассказано. Как помещик, в качестве хозяина, судии и наказателя душ подвластных ему крепостных людей, Вишневский тоже не представлял собою особой оригинальности. Он правил хозяйством, «як повелось из давнего времени». Все делалось через крепостных или наемных приставников, из православных и из поляков. Вишневский держал при себе на службе несколько человек поляков, к которым не питал никакой вражды, но любил иногда над ними забавляться. Было и несколько евреев, которых психопат любил пугать разными страхами. Не одного из них он заморил и загнал страхом со света, но они всё к нему лезли, потому что Вишневский иногда бывал щедр и бросал им что-нибудь на разживу. Впрочем, комиссионерских, услуг от евреев он не чуждался. Только боже спаси было его обмануть... Он не столько больно заперет розгами или плетьюми, сколько истерзает страхом. У Вишневого был и патриотизм, выражавшийся,

впрочем, а la longue[15] пристрастием к малороссийскому жупану и к малороссийской речи, а затем – в презрении к иноземцам. Особенно он не благоволил к немцам, которых не находил возможности уважать по двум причинам: во-первых, что они «тонконоги», а во-вторых – вера их ему не нравилась – «святителей не почитают». Степан Иванович думал, что сам он «святителей почитает». В вопросах веры он был невежда круглый и ни в критику, ни в философию религиозных вопросов не пускался, находя, что «се діло поповское», а как «лыцарь» он только ограждал и отстаивал «свою веру» от всех «иноверных», и в этом пункте смотрел на дело взглядом народным, почитая «христианами» одних православных, а всех прочих, так называемых «инославных» христиан – считал «недоверками», а евреев и «всю остальную сволочь» – *поганцами*. Иностранец и «даже немец» мог попасть к столу Степана Ивановича, и один – именно немец – даже втерся к нему в дом и пользовался его доверием, но все-таки, прежде чем допустить «недоверка» к сближению, религиозная совесть Вишневого иска-

ла для себя удовлетворения и примирения с собою. У Степана Ивановича, который, по собственному его сознанию, «катехизицу не обучавшись», хорошо сложился и очень конкретно оформился им самим составленный чинок для приятия инославных.

Степан Иванович говорил «люторю» или «католюку»:

– Ну, а все же ведь ты хоть и не по-нашему веришь и молишься, но Николу-угодника ты наверно уважаешь?

Испытуемый «иновер» знал по достоверным слухам, что бы такое с ним произошло, если бы он посмел сказать, что он не уважает угодника, за которого стоит фарбованский пан... Он бы сейчас узнал – крепки ли стулья, на которых Степан Иванович сажает своих гостей, и гибки ли лозы, которые растут, купая свои веточки в водах Супоя. А потому каждый инославец, которому посчастливилось расположить к себе Вишневого до того, что он уже заговорил о вере, – отвечал ему как раз то, что требовалось по чину «приятя».

– О да! – отвечал вопрошаемый иносла-

вещь, – как же не уважать Николу – его весь свет уважает.

– Ну, чтобы «весь свет» – это уж ты, брат, немножко хватил лишнее, – говорил Степан Иванович, – ибо надлежит тебе знать, что святой Никола природы московской, а ты поуважай нашего «русского Юрка».

Слово «русский», в смысле малороссийский или южнорусский, тогда здесь резко противопоставлялось «московскому» или великороссийскому, северному. Московское и «русское» – это были два разные понятия и на небе и на земле. Земные различия всякому были видимы телесными очами, а расчисления, относимые к небесам, познавались верою. По вере же великорусские дела подлежали заботам чудотворца Николая, как покровителя России, а дела южнорусские находили себе защиту и опору в попечениях особенно расположенного к малороссиянам святого Юрия или, по нынешнему произношению, св. Георгия (по-народному «Юрко»).

Всякий инославец, выдержав испытание о св. Николае, конечно, еще тверже говорил Вишневному, что он уважает святого Юрия

«еще больше, як Николу».

Это Степану Ивановичу нравилось. Тем вся катехизация новоприемлемого оканчивалась, и воссоединенного уже никогда более разноверием не попрекали. Даже если кто-нибудь невзначай касался словом их разницы, то Степан Иванович это останавливал, говоря:

– Никакой нет разницы: он и Николу уважае, а святого Юрко еще больше.

### **Глава восьмая**

Так исправившие себя инославцы всходили на самые перси психопата, а немец даже управлял почти безотчетно одним имением и так широко пользовался своими полномочиями, что делал почти все то самое, что делал и Вишневский.

Степан Иванович только в рассуждении женщин не позволял ему простирать требований к себе на двор, дабы никто не видал женщины настоящего, греческого закона, «входящей к немцу». Из этого для нее мог произойти срам, унижительный даже и для могущего явиться ребенка. Немец обязан был надевать летом холодный, а зимою ватный ха-

лат и картуз и брать в руки фонарь и идти сам на деревню, в сопровождении десятника, который «отвечал за его жизнь». А немец был только ограничиваем одним наказом, чтобы от него не было никакого размножения «немецкой прибыли, а все шло в прибыль русскую».

По деталям это казалось только частными ограничениями, но в общей сложности всего выходило, что немец жаловался Степану Ивановичу, говоря:

- Никак нивозможность.
- А почему бы это так?
- Все удираетси!..

Это означало, что как только немец выходил в свой ночной поход в длинном спальном халате и с фонарем в сопровождении «отвечавшего за его жизнь», так все его издали видели, и все, кому угрожало по направлению его посещение, разбегались и прятались.

Степан Иванович об этом как будто сожалел, но ничего в установленном им порядке отменять не дозволял.

– Без фонаря и без провожатого тебя пришибут и выпотрошат, и отвечать за тебя мне

будет некому, – говорил он, как будто искренно признавая установленный им порядок за необходимое; но близко изучившие его люди замечали, что при том, как он обсуждал с немцем его дело, – «один ус» у Степана Ивановича «смеялся».

У него, как у настоящего психопата, многое бестолковое соединялось с хитрым и было так «пересыпано», что «не можно було добрать, що він вередує».

Игривые штуки его с немцем кончились тем, что тот все ходил, мерцая своим фонарем, как ивановский жук в траве, пока, наконец, в сенях одной крестьянской хаты ему отмяли бока, и провожатый, отвечавший за его жизнь, принес его домой, где тот и не замедлил отдать богу свою немецкую душу, пожившую здесь с почтением к святителю Николаю и к св. Георгию.

Но, несмотря на самоподчинение этого немца названным святым, Степан Иванович все-таки нашел, что его недостойно было хоронить внутри кладбища, «вместе с родителями правой восточной веры», а указал закопать его «за оградю» и не крест поставить



над ним, а положить камень, «дабы притомленные люди могли на нем присесть и отпочить».

Все он во всех случаях держал какой-то особый, но в своем роде очень сообразный тон, обличавший в нем и юмор и почтительность к родной вере, утверждавшейся для него не столько на катехизическом учении, как на св. Николе и на Юрке. Но богу единому ведомо, было ли это так, как выдавал Степан Иванович, и не располагало ли им что-либо иное.

Для выражения полноты религиозного культа Вишневого остается прибавить, что почитать или обожать св. Николая и св. Георгия тоже дозволялось не всякому, а только одним христианам инославных исповеданий. Те ласкою и почтением к этим святым откупались от бед и входили в милость у Степана Ивановича. Но евреям он отнюдь не дозволял прибегать под защиту этих святых, и даже тех, которые обнаруживали к этому хоть малейшую склонность, — подвергал взысканию. Так, был один еврей, который в чем-то обманул Степана Ивановича и был за то на-

значен к порке. Когда его повлекли от крыль-  
ца, с которого Вишневский изрекал свой  
суд, – еврей этот стал упираться и, жалостно  
кривляясь, кричал:

– Ой, кили ж я шаную... я шаную и Мыко-  
лу... шаную и Юрко...

Степан Иванович велел ликторам остано-  
виться и переспросил трясущегося жидка:

– Что ты такое кричишь?

– Кили я шаную... Кили я шаную...

– Не лопочи – скажи спокойно, кого шану-  
ешь?

– Ой же, усих... ой, обоих шаную... святого  
Мыколу и святого Юрка.

– Ну, это ты напрасно...

– Ой, отчего... ой, зачем напрасно... Кили ж  
вони милостивы... может, вони меня помилу-  
ют.

– Да, они милостивы – это совершенно  
правда, но им, братку, никакого дела нет за  
жидов заступаться, – у вас есть свой Моисей,  
ты его и кличь, когда тебя пороть будут; а за  
то, що ты осмілився своими жидовскими  
устаами произнести таке свячене имя, – при-  
бавьте ему, хлопци, еще десять плетюганов за

Мыколу, да двадцать пять за святого Юрка, щобы не дерзал их трогать.

И несчастного еврейчика, конечно, ответили, куда надо, и задали ему все, что было назначено за обман, – с прибавкою тридцати пяти ударов за неуместное, по мнению Вишневского, ласкательство к Николе и к св. Георгию, – причем и тут тоже честь этих двух святых не была сравнена, а за Николу давалось только десять «плетюганов», тогда как за св. Юрия двадцать пять.

Разумеется, это делалось неспроста, а по большему почтению и любви к св. Юрию.

– Бо се, выбачайте, – наш, русский, а не з московьской стороны.

## **Глава девятая**

**У**помянув не раз, что Степан Иванович отдавал видимый преферанс тому, что исходило «не з стороны московьской», я должен предупредить читателя, щобы он не поспешил счесть Вишневского политиком, сепаратистом, или, как нынче называют, «хохломаном». Правда, что тогда на хохломанство не только смотрели сквозь пальцы, но даже со всем и знать о нем не хотели; но если бы кто

приступил к душе Степана Ивановича и «со всяким испытанием», то он не нашел бы там ничего политического. Вернее всего, он почувствовал бы себя там как в амбаре, где все навалено и все, почитай, есть, но никто толком ничего не отыщет. Вишне夫斯基 противоречил решительно всем, кроме своей первой жены, здесь уже довольно подробно описанной Степаниды Васильевны, из рода тверских дворян Шубинских. Если собеседник был хохломан и хвалил все малороссийское, то Вишне夫斯基 непременно хотел выставлять недостатки малороссийских нравов и делал это с талантом, доводя свои сравнения до большой меткости и едкости. Тогда он усердно похвалял Польшу, особенно Батура и Собиесского, – называл «Богдана» великим «пьянычкой» и приводил спор к решительной, по его мнению, формуле, что «Польша впала и нас задавила». Но отзывался кто-нибудь со вздохом за Польшу – и Степан Иванович сейчас переменил вал в своем органе и вел речь на великорусский мотив.

– То правда, – говорил он, – були у них вольности и поважанье, але що з того, як все

хотели быть «крулями» да над «крулями» каверзували. За те ж то и згнули, и мусяли згнуть, бо не тїм занимались, що треба для благоденствия цілого края, а шарпали ту несчастну свободу усяк, кто як мог, на свою сторону.

Он махал рукою и презрительно заключал:  
– Ледаще, ледаще!

Но Вишневский не был и поборник строгого уважения к властям, а, напротив, как выше показано, сам весьма часто и даже почти при всяком случае готов был унижать и оскорблять органы законной власти. Не был он и демократом, не был и народником в нашем нынешнем понятии. Напротив, самое скромное и, по-видимому, безобидное учреждение выборной должности городских голов его смешило, и он ни за что не хотел называть их «головами», а называл иначе. Словом, Вишневский, по короткому, но меткому определению простых людей, был «пан, як се належи – як жубр из Беловежи», то есть он был барин как следует, все равно что зубр из Гродненской пуци, который не чета обыкновенным быкам, а всех их отважнее и сильнее. И как пан, он наблюдал свое полное достоинство и

знал толк в этом деле. Не имея настоящего образования и не читав неизвестных еще тогда политических рассуждений, написанных позже такими людьми, как Токвиль, – он верно понимал космополитические стремления настоящего аристократизма, свойственные также и настоящему демократизму, ибо при обоих объединяющим стимулом является принцип, оттесняющий в сторону симпатии национальности. Вишневский недолюбливал поляков, но чуть речь заходила о каких-нибудь именитых людях «московских», – он сейчас начинал строить иронические гримасы и, улучив минуту, когда Степанида Васильевна не была в комнате, говорил:

– Ну, какая там у них именитость! – у всех у них деды и бабки батогами биты.

С этой точки зрения Вишневский превозвышал польскую знать и даже ливонских баронов; но если бы с ними у России зашла война, он бы не утерпел и пошел бы их «колотить» со всеусердием, ибо, хотя он втайне завидовал чистоте их «родовитой крови», но терпеть не мог в них «собачьей брови», то есть их высокомерия и надмения, которые

ему были противны, так как он считал себя простым и прямодушным.

Кто мог бы разобраться во всем этом, что было наворочено под черепом у этого психопата? Но возникал случайно перед ним какой-нибудь вопрос или случай необыкновенного свойства – и вся эта психопатическая «бусырь» куда-то исчезала, и Степан Иванович обнаруживал самую удивительную, тоже, пожалуй, психопатическую находчивость. Он действовал смело и рассчитанно в обстоятельствах сложных и опасных и шутя выводил людей из затруднений и больших бед, которые угрожали тем задавить.

Один из таких случаев рассказывают об офицерах какого-то драгунского полка, квартировавшего не то в Пирятине (Полтавской губернии), не то в Бежецке (Тверской губернии).

Этот занимательный случай одни усвоят Тверской области, а другие Малороссии – и что правее, судить трудно, да едва ли и стоит ломать над этим голову. Случай таков, что он с одинаковою вероятностию мог произойти в любом городке, но, судя по характерам двух

упоминаемых здесь «панычей», кажется, точнее – прилагать это к нравам малороссийского подьячества.

Нам, впрочем, дело не в точном обозначении места, а в самой картине события и в том участии, которое принял в нем наш психопатический герой.

### **Глава десятая**

**В** Пирятине (примем за данное, что это было там) стояли драгуны. Части полка были расположены и в других местностях. Полковой командир квартировал, может быть, в Переяславе.

Разумеется, на стоянке в крошечном городке офицеры скучали от безделья и развлекались, разъезжая в гости к помещикам. Когда же выдавалось несколько дней домоседства, они кутили, играли в карты и пили в погребеке при лавке какого-то местного торговца виноградными винами. Торговец был еврей, любил обирать офицеров и разгулу их потворствовал, но сам их боялся и, – для того ли, чтобы они хоть мало-мальски вели себя тише при возбуждении, – он повесил в том помещении, где пировали его гости, портрет лица, ко-



торое, по его понятиям, могло напоминать посетителям его заведения об уважении к законам благочиния. Может быть, это было умно, но повело к истории.

Как-то, в самую скучную летнюю пору, в город заехал жонглер и, ходя по городу, давал, где его принимали, свои незамысловатые представления, из коих одно пришлось очень по вкусу господам офицерам: артист сажал свою дочь на стул, плотно подвигая его спинкой к стене, и, достав из мешка несколько кинжалов, метал их в стену так, что они втыкались, обрамливая голову девушки со всех сторон, но нигде ее не задевая.

Такое твердое и ловкое упражнение оружием весьма заняло людей, знакомых с трудностью этих смелых эволюций кинжалами, и вот офицеры, собравшись однажды там, где было им за обычай пить и закусывать кусочками сыра, наструганного наподобие выветрелых остриженных ногтей, стали говорить о метаниях кинжала, и когда сделались уже пьяны, то одному из них пришлось в голову, что и он может проделать то же самое.

Кинжалов при них не было, но на столе

находились вилки, которые до известной степени при этом опыте могли заменить кинжалы. Если их и не так легко было бросать с прицелом, то все же таки они втыкались в стену.

Остановка была за человеческим лицом, около которого можно бы натывать вилок. Из офицеров, разумеется, ни один не пожелал сам подвергнуть себя такому опыту. Надо было найти личность низшего разряда, конечно, самое лучшее жида, – и разгулявшиеся офицеры отнеслись с предложением такого рода к прислуживавшим евреям, но те, по трусости и жизнелюбию, не только не согласились сидеть на таком сеансе, но даже покинули свои посты при торговле и предоставили всю лавку во власть господ офицеров, а сами разбежались и скрылись, хотя, конечно, не переставали наблюдать из скрытных мест за тем, кто что будет брать, и вообще что станет далее делать шумливая компания.

На этот грех случай поднес сюда двух молодых приказных, по местному выражению – «судовых панычей», которые в этот день, вероятно, стянули с кого-нибудь «доброе хаба-

ра» (то есть хорошую взятку) и пришли угостить себя в погребеке холодным донским вином полынного привкуса.

Офицерам тотчас же пришла мысль приурочить этих панычей для своего опыта – для чего тем сначала было предложено вместе выпить, а потом к ним стали приставать, чтобы который-нибудь из них посидел на сеансе.

Панычи оказались очень странными людьми, совершенно разного нрава – один как Гераклит, а другой как Демокрит. Придя с жару в холодный погребок, они как выпили холодного вина, так их и развезло, и потому, когда офицеры стали к ним приставать, они, вместо того чтобы скорее уйти, не трогались с места. Считая себя на равной ноге, как аборигены, они начали проявлять свой характер. Один на делаемые ему предложения смеялся и отпускал раздражавшие офицеров малороссийские шуточки, а другой раскис и стал плакать. И хотя его уже никто не трогал, но он все продолжал кричать: «Не чепайте меня! Идите соби до біса! дайте мени святого покою!»

Оба эти панычи так надоели офицерам,

что те, наконец, поступили с ними по-своему, – то есть похлопали их и подбили под стол и решили держать там, «как поросят», до тех пор, пока окончится пирушка. Это было и удобно и безопасно, ибо под столом панычей офицеры удерживали ногами, имея и рты и руки свободными, а между тем через обеспечение личности панычей устранялся скандал, который казался неизбежным при мерзком характере, какой обнаруживали эти неуступчивые молодцы. Один из них непременно бы стал на площади или на улице визжать на весь город, а другой, чего доброго, мог бы взлезть на забор или подойти к окну и тут же через окно дразниться.

Тогда пришлось бы за ним бегать, его доставать и ловить – все это было бы скандально и непременно бы собрало бы кучу баб и жиденят. Словом, вышло бы совсем неприлично офицерскому званию, – между тем как панычи, подбитые под стол, сидели там смиренно и только жались, обнявшись друг с другом, на тесном пространстве, где их теснили офицерские ноги в сапогах со шпорами.

Все было прекрасно, но в компанию заме-

шался черт, и все дело испортилось: офицеры до того запьянели, что стали метать вилки в портрет, рассчитывая, что могут окружить его так же ловко, как жонглер окружал кинжалами голову живого человека. Но черт тут и был: как только первый офицер метнул вилку, бес толкнул его под локоть – и вилка попала в самый глаз портрета. Метнул другой офицер, а черт опять навел вилку по тому же направлению в другой глаз, и тогда в опьяневшей компании развилось соревнование – вилки полетели одна за другою и совсем изуродовали лицо портрета.

В пьяном загуле, перешедшем уже в состояние умственного омрачения, офицеры не придали этому событию никакого особенного значения. Попортили картину – больше ничего. Не бог весть какого она мастера – не Рафаэлю произведение и огромных сумм стоить не может. Призовут завтра жида-хозяина, спросят его, сколько картина стоила, хорошенько с ним поторгуются и заплатят – и на том квит всему делу. Зато как было весело, сколько шутили и смеялись при всякой неудаче бросить вилку так метко, как бросал

жонглер.

– Нет, он, шельма, лучше делал. Нам так не сделать. И слава богу, что никто живой не согласился перед нами сидеть, а то бы мы живому глаза повыкололи – тогда и не разделаться.

Очень рады были добрые удальцы, что так хорошо дело кончилось одними смешками да шутками, и, поддерживая друг друга, разбрелись по квартирам. Уходя, они совсем даже позабыли про судовых панычей, которые притихли под столом и не подавали о себе ни слуху ни духу.

А дело было совсем не так просто и совсем не благополучно, как думали разошедшиеся на отдых добрые ребята.

## **Глава одиннадцатая**

**К**ак только офицеры разошлись и оставленная ими камора при еврейской лавке опустела, «судовые панычи» вылезли из-под стола и, расправляя окоченевшие от долгого согбення колени, оглядели вокруг свою диспозицию... Все было тихо – ни в каморе, ни в лавке ни души, а сквозь густое облако табачного дыма со стены едва был виден изуродован-

ный портрет с выколотыми глазами и со множеством рваных дырок в других местах.

По счастью для одних и по несчастью для других, панычи были много трезвее офицеров, потому что, когда те довершали свое опьянение за столом, из-за которого метали в портрет вилки, заключенные под столом Гераклит и Демокрит значительно «прочунели» – чему, может быть, сильно содействовали и страх, и воздержание, и жажда мести, которая в них зажглась, и они придумали прекрасный план наказать своих обидчиков.

Панычи, недолго размышляя, сняли со стены израненный портрет и, выбежав с ним вместе на крылечко лавки, закричали: «гвалт!»

– Люди добрые, сходьтесь... Кто в Бога віруе и старших поважае, дывитесь... Ось як охвицеры такой персоны патрет спонивадыли!

И сейчас на этот зов – невесть откуда, как из земли, выросли спрятавшиеся на время дебоша хозяева, прибежали с торгова бабы-перекупки, загалдели жиденята – и пошла история.

Жид-хозяин, больше всех струсивший и всех более недовольный скандалом, закрыл себе большими пальцами глаза, как закрывает их благословляющий раввин, и кричал:

– Я ничего не бачыв и теперь не бачу, да и не знаю, кто сей войсковий пан, ще тут писан... Дай бог ему, чтоб все доброе, а только мени... мени теперь эта картина совсем не нужна... Я ее жертвую: берите ее себе, кто хочет.

А Демокрит возглашает:

– Мы то знаем... яка се персона и протестуемось... Бачте, добри люди – очей нема, повыколованы. Несем портрет до городничего.

И Демокрит понес израненный портрет по улице к городническому дому, а Гераклит его сопровождал и опять раскис на теплом солнышке и плакал, и все, кто за ними следовал, указывали на него с похвалою, говоря:

– От се ж дивитесь, яке чувства мает!

А офицеры себе спят да спят и не чувуют, что они опротестованы и что дело это им непременно натворит хлопот, с которыми не знать как и развязаться.

Но если грузен был их хмельной сон, то не



легко было и пробуждение на следующее утро.

Рано всех собутыльников описанной попойки обежал вестовой от усатого майора или ротмистра, который командовал эскадронном и представлял своим лицом высшую полковую власть в месте расположения.

Конечно, ротмистр еще не бог весть какое высокое начальство – почти то же, что «свой брат Исакий», и порою «вместе пляшет», – однако офицеры струхнули.

Главное лихо в том было, что у них еще головы трещали и они никак не могли вспомнить всего, что вчера происходило в каморе при жидовской лавке... Что-то такое помнилось, что было будто крепко закручено, да только не все подряд вспомнить, а что-то обрывается, и являются промежутки времени, когда будто даже и самого времени не было... Помнится, что будто разогнали жидов, да ведь это совсем не важно, и не раз это случилось и при самом ротмистре. Разогнать никого не беда, а особенно жидов, потому что это такой народ, который самыми высшими судьбами обречен на «рассеяние». Жид насчитает

лишнее, положит за выпитое то, что и не было пито, и за то поврежденное и разбитое, что совсем не повреждалось; но они рассчитаются с ним и опять будут жить ладно до новой истории. Жид сам же им поставит первую выставку без денег «на мировую», а потом они захотятся и поддержат коммерцию... Не может быть, чтобы это он – жид захотел с ними ссориться и был причиною внезапного раннего призыва их к старшему офицеру!.. Разве что-нибудь приказные... Кажется, будто там были какие-то два приказные... «судовые панычи»... Тоже кушанье неважное... мало ли их везде в то время военные люди трепали!.. Да и чего они больше стоят – это крапивное семя, взяточники?.. Разве вот только не обрубили бы которому-нибудь их нос или уши?.. Вот это скверно – отрубленного не приставишь... Но, – бог милостив, – сходили с рук и не такие дела – сойдет и это. Да и на что приказному нос? – разве только чтобы табак нюхать да обсыпать им казенную бумагу... А хабар или взятка не жаркое, он ее и так, без носа почует... Разумеется, придется сложиться и заплатить, но в складчину это не тяжело

будет...

## Глава двенадцатая

В таких или приблизительно в подобных ему размышлениях офицеры, мало унывая, потянулись к квартире своего старшего товарища и вступили в его просторную, но низенькую залу, в малороссийском домике, смело; но тут сразу же заметили, что дело что-то очень неладно. Ротмистр их не встречает за панибрата – в полосатом канаусовом архалуке, с трубкой в зубах, а двери в его кабинет заперты, – пока, значит, все соберутся, тогда он и выйдет и заговорит ко всем разом...

Эта официальность не обещала ничего доброго, и сходящиеся офицеры переглядывались друг с другом и, понизив тон до полупшепота, спрашивали один у другого:

– Да что это такое?.. Что мы вчера надела-ли?

Одному кому-то на переходе по улице удалось что-то услышать про портрет...

– Портрет, портрет... Что такое за портрет?!

Никто не может вспомнить.

А в это время дверь вдруг отворяется, и из кабинета выходит ротмистр, в мундире с эпо-

летами, и усы оттопырены, и, не поздоровавшись, начинает речь словами, гораздо позднее вложенными Гоголем в уста Сквозника-Дмухановского:

– Я пригласил вас, господа, для того, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: на вас подана жалоба по гражданскому начальству, и мне сообщил о ней городничий; я должен вас арестовать. Пожалуйста мне ваши сабли и извольте сейчас чистосердечно объяснить: что вы такое вчера наделали в лавке?

Офицеры стали безропотно снимать сабли и подавать их эскадронному, но насчет «чистосердечного объяснения» отвечали, что они и сами рады бы узнать, что такое именно они наделали, но не могут привести себе этого на память.

Ротмистр еще принасупился и еще суровее произнес:

– Прошу не шутить! я с вами говорю по службе, как старший!

– Шуток и нет, – отвечал один из обвиняемых, – а ей-богу мы не помним.

– Припоминайте!

– День был жаркий... вошли невзначай...

стали пить в холодке полынное... с жидами за что-то поспорили... но худого умысла не имели... Там даже были два приказные, и те всё могли видеть.

– То-то и есть... два приказные! В них-то и дело. Эти два приказные действительно могли всё видеть, и они и видели, а вот вы чем будете против них оправдываться? Срам нашему званию!

– Да в чем оправдываться?.. Позвольте узнать, – проговорили офицеры.

– А вот в чем вам надо оправдываться! – воскликнул ротмистр и, вынув из кармана сложенный вчетверо лист бумаги, стал читать обязательно сообщенную ему городничим копию с извета судебных панычей, где писано, как господа офицеры повреждали портрет метанием вилок, несмотря на то, что они, случившиеся на месте преступления судебные панычи, «имея в сердцах своих страх Божий и любовь ко Всевышнему», во все это время стояли на коленях, и до того даже, что растерзали на тех местах об пол имевшиеся на них в ту пору единственные шаровары и по той причине теперь лишены возможности хо-

дить на исправление обязанностей службы. А потому они против всего оказанного офицерами бесчинства по долгу своему протестуют, а за панталонное повреждение просят взыскать с виновных особенно в пользу каждого, по двадцати рублей ассигнацией.

Дочитал это ротмистр и, свистнув вестовому, велел подать из своей спальни портрет, на котором офицеры воочию могли увидеть следы своего вчерашнего времяпровождения, и остолбенели...

А ротмистр меж тем снял с себя мундир и, оставшись в одном военном галстухе, сел на стол и, заложив руки за вышитые гарусные подтяжки, заговорил другим голосом:

– Дело, господа, плохое. Это имеет предрянной характер, потому что тут черт знает что такое присочинят... Какая-то ничтожная приказь, дрянь, канцелярские с приписью подьячие, и против офицеров... Я с вами обошелся как старший, а теперь говорю как товарищ... Этого так предоставить своему обыкновенному течению невозможно, а надо предупредить быстротою и чистосердечною военною откровенностию, как прилично благородным

людям... Поможет это или нет, но надо действовать откровенно и честно. Прошу садиться, закуривайте трубки и давайте думать. А мое мнение такое: грех воровать, да нельзя миновать. Надо тем пользоваться, что почта в Переяслав вчера ушла и теперь опять только через три дня пойдет. Это ваше счастье. Я отобрал у вас сабли, и вы выберите поскорее из себя двух, и пусть они скачут к полковнику и расскажут ему всё по совести. Он с губернатором хорошо знаком и помочь может.

Лучше этого плана не могли и придумать, и через час два офицера уже скакали из Пирятина в Переяслав, а на дороге у них Фарбованая; с неба после жары и духоты ударил гром и полил ливень, и в потоках воды, как пузырь, выскакивает перед офицерами из хлебов хохол в видлоге.

– Що за люди с дзвоном и чого треба?

Отвечают:

– Мы офицеры, едем по своему делу.

– А як по своему ділу, то вертайте до нашего пана Вишневого.

Офицеры было не хотели, но хохол их убедил, что «се вже такички... такая поведен-

ция».

Заехали, чтобы переждать дождик и грозу, а Степан Иванович встречает их радушно – сейчас напоил, накормил, и спрашивает:

– Что вы, господа, волей-неволей или своею охотою дальше рветесь в такую погоду?

Офицеры отвечают по-сказочному – что едут они и волей, и неволей, и своею охотою.

– А именно?.. Может быть, я пособить вам могу, что и ехать не надо будет.

Те вздохнули и говорят:

– Нет, у нас такое трудное дело, что разве только полковник губернатора упросить может.

– Ну, однако, – что такое губернатор? Я ведь не из пустого любопытства спрашиваю.

Офицеры рассказали.

Вишневецкий поводит себя растопыренными пальцами по темени, чихнул и говорит:

– Это совсем не губернаторское дело, и вам в Переяслав ехать незачем. Никто вам не поможет, если не дать делу правильного оборота.

– А как ему дать правильный оборот?

– Ну, это мне надо еще почихать.



И Степан Иванович опять поводил себе пальцами по темени, чихнул и говорит:

– Да, вижу я, что все вы хоть москали и надо бы вам нас учить, а вы дело нехорошо поставили и можете его совсем испортить, если поедете к старшим. Вы вашею откровенностью себе не поможете и начальство затрудните, а вот я вас до завтраго у себя арестовываю, и имею право арестовать, потому что вы мне сами сознались, что сбежали, да при вас и ваших сабель нет. Прошу пожаловать во флигель – там вам готовы все услуги, и спите крепко, а завтра утром все ваше дело примет такое правильное направление, как следует.

### **Глава тринадцатая**

**О**фицеры, поговорив, подумали: что же, до утра подождать беда не велика, – и подчинились своеобычному хозяину. Они ушли во флигель, а фарбованский пан крикнул гайдука Прокопа, велел ему сесть в бричку и скакать в Пирятин, где найти таких-то двух судовых панычей и во что бы ни стало привезти их к утру в Фарбованую.

Гайдук поскакал, разыскал панычей и говорит:

– Мій пан Вишневський нездужає. Так ему прикоротіло, що аж не знаю, чи він до вечера додышет. Схопився, колысь теперички отказну духовну писать и прислав меня до вас просити, щоб сейчас увзяли с собою каломарь и паперу и іхалы со мною, в свидетелях подпираться. Вам за се добрый хабар буде.

Панычи знали, что Вишневский *никогда не болел*, а такие если заболят, то к смерти.

Они подумали: «Верно он помрет, то и мы себе что-нибудь в духовной припишем. Он больной не расчухает».

Так они с радостию скоро собрались и поехали, и как Степан Иванович только проснулся, – они уже у него на крыльце стоят.

Степан Иванович сделал для этих гостей маленькую отмену в приемном этикете. В дом он их, разумеется, тоже не впустил, но велел вынести на свой лифостротон маленький столик и на двух панычей один стул – только с тем, чтобы они не смели на него садиться.

Затем он вышел к ним в картузе с большим козырьком и повел политику.

– Вас, – говорит, – мой гайдук надул, будто я помираю. Это еще, хлопци, бог даст, не ско-

ро будет, и я до тех пор привезу для своей духовной других свидетелей, вас поисправнее. А я привез вас сюда для вашего блага...

Те смотрят.

– Что вы там, анафемы, позавчера у жида в каморе наделали? А?

Панычи выразили удивление.

– Помилуйте... Кто это вам наговорил?.. Мы ничего, а это офицеры...

– Да, да, – я все знаю. Потому мне вас и жаль, что вы, дурни, вздумали свою вину на офицеров взваливать, как будто это вам поможет... Вы б таки одно то вздумали, что офицеров шесть человек свидетельствуют, что вы портрет повредили, а вас против них всего только двое... Кто же вам поверит?

– Позвольте... да мы...

– Нечего, нечего пустяки говорить, – перебивает Вишневский. – Я все знаю, – мне все известно. Вы там задумали донос писать, и когда еще ваш тот донос пойдет, – а уже офицеры поскакали и в Переяслав, и в Полтаву, и в Киев. Хвала божья, що я их перехватив да у себя зарештовав... Их шесть человек, и все видели, как вы вилки кидали...

– Позвольте... да когда же мы кидали?

– Нечего, нечего! – не дает слова Вишневский, – вас двое, а их шесть, и вам не выкрутиться. Притом они вас знатнее... они благородные дворяне, а вы что такое? – яки-сь крученые панычи, пидкрапивники...

– Да мы в правде...

– Цыц! что такое за правда с москалями! Их шесть, а вас двое... Кто ж вам поверит? И разве вы не знаете, что у нас и все большое начальство тоже московское. Да еще и забісовьски жида наверно за сильнейшего потянут – скажут, что видели, как вы кололи.

– Смилуйтесь, пане, – ведь жида ж шельмы!

– Да кто ж вам говорит, что они не шельмы, а только они на вас покажут... Вот потому-то мне вас и жаль, что вы в такую біду попали, аж просвіту нэма.

Подьячие, понимая толк в формах судопроизводства, видят, что черт возьми – дело-то ведь в самом деле плохо, и не только нет никакого преферанса на их стороне, а даже, пожалуй, как пить дадут – всю вину на них взвалют.

– Их ведь шестеро... а нас двое... А!

– Да... А еще жида, может быть...

– Что же делать?

– Что нам, ваша милость, делать?

– А я вот что научу вас сделать. Садись-ка один из вас и пиши, что я говорить буду.

Началось писание, а Степан Иванович диктует:

«Був малосмысленны от природы и от обращения в хабарной бідности помрачени совістю...»

Пишущий приостановился... но Вишнеvский его подогнал:

– Пиши, пиши! Это так надо.

«Помрачени совістю... мы, такой-то и такой судовые копиисты, придя в камору при жидовской лавке, упилися до безумия нашего и, зачав за хабара спориться, стали друг в друга метать вилками, и как були весьма пьяны, то попали неосторожностью в портрет...»

Пишущий опять остановил руку, но Степан Иванович пощупал его за затылок, и тот сейчас же стал продолжать и написал до конца целый акт своего сознания в невольной вине и потом в том, что «по опасению своему

они решились было возвести свою вину на офицеров, уповая, что тем, как людям войсковым, ничего не будет. Но ныне, чувствуя свое согрешение и помышляя час смертный, они в том каются и просят у офицеров прощения и *недонесения*. А за провинность свою, в пьяном виде сделанную, сами упросили пана Вишневского родительски наказать их у него в селе Фарбованой по возможности розгами, после чего Вишневский будет, в случае надобности, просить, чтобы дело не начиналось».

– Да за що ж... ваша милость, за що ж нас же и битимуть?

– Это только так пишется!

Они подписались, и Вишневский подписал и позвал офицеров.

– И вы, – говорит, – господа, подпишите, что согласны их простить от своего общества и уж, пожалуйста, по-военному – будьте великодушны, ни до кого этого дела... не доводите. Я ведь меж вас порукою.

И те подписали.

– Вот так чисто, – сказал Степан Иванович, кладя в карман бумагу, – а теперь, – добавил он, обращаясь к людям, – сведите этих пань-

чей на конюшню и велите их там добре выпороть.

– Помилуйте, – что такое...

– А то що такое! – это же так... як писано есть! Що ж вы уже писанию хотите противиться! Эге! добры панычи. Выпорите их, хлопци!

И выпороли.

Этих панычей после, говорят, будто долго спрашивали, «що як им трапилось: як вони в Фарбованой фарбовались?»

А к Степану Ивановичу в Фарбованую приехал командир и хоть словами не говорил, но всем выражал ему свою признательность за такое находчивое и «правильное направление дела».

## **Глава четырнадцатая**

**С**ам в собственных своих делах Степан Иванович был предусмотрителен и поддавался ошибочным увлечениям только тогда, когда его отуманивала любовная страсть. И высшее в этом роде безумство овладело им по одному случаю, бывшему именно с тою тонкой и стройной Гапкой Петруненко, у ног которой мы его оставили на ковре.

Во время любви Вишневого к этой девушке в церкви села Фарбованой был священник, которого называют Платоном. Он имел будто довольно общую русским людям слабость, что трезвый «на все добре молчал», а выпивши – любил говорить и даже «правду-матку ризать».

На другой день, после того как Вишневский встал с ковра, он радостно объявил утром Степаниде Васильевне важную новость.

Гапка ощутила в себе биение новой жизни.

– И то, что от нее родится, уж не будет моим крепачком, а будет вольным, – сказал Вишневский.

Степанида Васильевна встала и поцеловала мужа в голову.

Это был редкий дар любви со стороны Степана Ивановича, потому что все великое множество его детей были писаны за ним «душами» и благополучно исправляли паньщину на его полях.

И Гапочка была веселенькая.

А через час она пошла себе рвать малину,



и тогда к садовой ограде подошел в правдивом настроении отец Платон. Он увидел девушку и заговорил с ней пастырским тоном:

– Що, дівчинка – весела?.. Веселись, веселись, – ішь малынку сладїньку... а як родышь дытынку маленьку, так тоди тебе буде по пылице...

– Зачем так? – оглянулась на него вбок Гапка, вдруг внезапно сконфуженная и огорченная... потому что – как это ни странно – Вишневого любили многие женщины, делавшиеся сначала его любовницами против своей воли. И Гапка чувствовала то же самое и спросила: зачем ей непременно надлежит быть прогнанной: как только она родит дытynu.

– А затем, – отвечал батюшка, – що на панском дворе не держат коровку по второму теленку.

Только всей и причины было со стороны отца Платона, а Гапочка была впечатлительна, особенно в новом, чутком состоянии своего организма, и стала горько плакать; но, как скрытная малороссиянка, она ни за что не хотела сказать, о чем плачет. Степан Иванович

сам о всем доведася: люди видели, как священник говорил с Гапкою, и донесли пану, а тот сейчас потребовал своего духовного отца к себе на исповедь и говорит ему:

– Что такое ты насаказал Гапци?

Священник не мог решиться сказать, что он говорил девушке, и говорит:

– Не помню.

Вишне夫斯基 взбесился и заорал:

– Ага!.. я теперя тебя знаю: это ты сам до нее мазався... Ты думал, що вона мене на тебя зміняе?

– Что вы, что вы, ваша милость...

– Нечего «моя милость». Моя милость только тем тебя помилует, что, как духовный сын твой, я бить тебя не велю, а пускай тебя убьют, як слід, и проведут по селу, щоб бачили, якш ты паскудник...

Несчастливого взяли, раздели, всунули его в рогожный куль, из которого была выставлена в прорез одна голова, и в волосы ему насыпали пуху и в таком виде провели по всему селу.

Священник ездил, жаловался, просил перевода и получил его, без всяких, впрочем,

неудобных для Степана Ивановича последствий.

Отмщение ему воздал сам обиженный священник, но отмщение смешное и очень позднее. Оно открылось через много лет, когда Степан Иванович задумал выдавать замуж одну из своих дочерей. Тогда потребовалась выпись из метрических книг, и там неожиданно нашли глупую и совершенно бессмысленную запись по подчищенному, что такого-то Степана Ивановича и законной жены его родилась *незаконная* дочь такая-то...

Это было бессмысленно и серьезного вреда Степану Ивановичу причинить не могло, но это его ужасно сконфузило. Как, с ним – и осмелились отшутить такую шутку!.. И кто же? – поп! И притом – он останется неотмщенным... потому что отец Платон раньше этого волею божиею умер.

Иначе, разумеется, Степан Иванович нашел бы его и в чужом приходе...

## **Глава пятнадцатая**

**Т**аковы были дикие поступки этого оригинала, которые теперь, в наше порицаемое время, были бы невозможны или их наверное

нынче зачли бы за психопатию. Но у Вишневого отдавали психопатизмом и самые его вкусы и ощущения. Он, например, не чувствовал красот природы, но любил только ночь и грозные эффекты, а в мире животных любил только голубя и лошадей. Голуби ему нравились потому, что они «целуются», а лошади потому, что в них есть удаль, быстрота и голос... Да, да, да, – ему чрезвычайно нравился лошадиный голос, то есть ржание.

Для доставления себе удовольствия в первом роде Степан Иванович содержал перед своими окнами большую голубятню и часто по целым часам любовался, «як вони цілуються». И Степаниду Васильевну призывал к этому зрелищу.

– Смотри – целуются.

И смотрят, бывало, оба – долго, долго и наверно с хорошими мыслями.

Для конского ржанья Степан Иванович всегда ездил на жеребцах и оставался совершенно равнодушен к тому, если они производили беспорядок в каком-нибудь съезде экипажей. Но и этого ему мало было: где бы он ни слышал конское ржание – на езде ли это

или из дома, он сейчас же останавливался, поднимал перед собою палец и замирал... Наверно, ни один меломан не слушал так страстно ни Кальцоляри, ни Тамберлика, ни Патти.

Любимейшее зрелище Вишневого было хороший конский табун, где гуляет мощный и красивый жеребец. Даже издали слышав его ржание, Степан Иванович останавливался, и лицо его принимало выражение полного удовольствия... Казалось, глаза его не стесняясь пространством, видели, как конь, напрягши хребет и втягивая и ноздрями и оскалом воздух, несетя и пышет страстью...

– Слышишь, Степанида Васильевна?

– Да, мой друг, слышу.

И, счастливая всем на свете, что только доставляло удовольствие ее мужу, она и здесь выражала счастье... И Степан Иванович это ценил.

Ему было шестьдесят лет, когда Степанида Васильевна скончалась, и он ее оплакал горячими слезами, а потом, несмотря на свой преклонный уже возраст, довольно скоро вступил во второй брак с восемнадцатилетнею

красивою малороссийскою девушкою по фамилии Гордиенко. И снова с этою своею супругою тоже был счастлив, но... Степаниду Васильевну помнил... Второй его молодой супруге, при многих ее достоинствах, недоставало той, так сказать, вхожести во все его слабости и мании... Ей Степан Иванович не указывал на целующихся голубков и не хотел ее спрашивать, слышит ли она, как звенит и разрывается трелями, а потом сходит на октаву истошным голосом заливающимся султан табуна...

Вишневецкий попробовал было обратить на это внимание своей новой жены, но она оказалась бесчувственна – она даже не встала и не улыбнулась, а только холодно проговорила:

– Да, слышу, это где-то лошадь заржала! – и затем опять спокойно принялась за свою работу...

Не так должна была относиться к таким страстным вещам женщина с живою фантазией!..

Степан Иванович понял, что его новой жене недостает того, что имела прежняя, и не

втягивал ее более в цикл понятий, которые были ей недоступны.

В минуты душевного подъема он только вздыхал, и искал глазами портрета Степаниды Васильевны, и ей улыбался...

## **Глава шестнадцатая**

Со второю своею супругою Вишневский прожил еще около двадцати лет, наслаждаясь никогда не изменявшим ему здоровьем, и скончался, начав девятый десяток. Всех лет жизни его было восемьдесят два года. Неможей старости или медленного, но постоянно-го умирания он тоже не испытывал, а когда пришел к нему его час, он сразу отпал, как отпадает от стебля мягко созревшая малина.

Утром, в один из дней своего восемьдесят третьего года – весной, когда в Малороссии цветет роскошно сирень, Степан Иванович объезжал никому не поддававшуюся ногайскую кобылицу.

При участии своей необычайной силы и при необычайной своей тяжести он уходил до изнеможения дикую кобылицу и, сойдя с седла, отдал ее поводья конюхам, а сам взошел на балкон и вдруг остановился...

Вишневному показалось, что у него как будто «отряслось сердце»... Скакал, скакал, трясся, трясся – и оно отряслось... Так, совсем без боли, без повреждения, как будто упала созревшая ягода... Место его стало пусто... и все вдруг стало сдвигаться, как часовые гири, у которых бечева сошла с колеса.

Вишневецкий сел скорее в кресло и хотел что-то сказать, но язык его завял в устах... Все так хорошо, кругом цвет и благоухание... Он все видит, слышит и понимает... Вот конюхи, облегчив подругу, «разводят» под тенью стены потную кобылицу... Она отдыхает, встряхнулась, и легкие частицы покрывавшей ее белой пены пронеслись в воздухе. За стеною конюшни раздался удар о помост двух крепких передних копыт, и разлилось могучее и звонкое с фаготным треском: и-го-го-го!..

Степан Иванович повел глазами направо и налево... Он искал портрета Степаниды Васильевны, но остановил их на кусте цветущей сирени и улыбнулся...

Надо думать, что он увидел там самое Степаниду Васильевну с ее продолговатым обликом типа Шубинских и... упал со стула к ее



ногам – мертвый. В жизни иной они оба друг друга, вероятно, узнали.

*Впервые напечатано – журнал «Новь»,  
1885.*

# Интересные мужчины

*Нет ничего увлекательнее порыва горячего чувства.*

*Берсье*

## Глава первая

В дружественном мне доме с нетерпением ожидали получения февральской книги московского журнала «Мысль». Нетерпение это понятно, потому что должен был появиться новый рассказ графа Льва Николаевича Толстого. Я заходил к моим друзьям почаще, чтобы встретить ожидаемое произведение нашего великого художника и прочитать его вместе с добрыми людьми за их круглым столом и у их тихой, домашней лампы. Подобно мне, заходили и другие из коротких друзей – всё с одною и тою же самою целью. И вот желанная книжка пришла, но рассказа Толстого в ней не было: маленький розовый билетик объяснял, что рассказ не может быть напечатан. Все огорчились, и всяк это выразил соответственно своему характеру и темперамен-

ту: кто молча надулся и насупился, кто заговорил в раздражительном тоне, иные проводили параллели между воспоминаемым прошедшим, переживаемым настоящим и воображаемым будущим. А я в это время молча перелистывал книгу и пробежал напечатанный тут новый очерк Глеба Ивановича Успенского – одного из немногих литературных соботрий наших, который не разрывает связей с жизненной правдою, не лжет и не притворствует ради угодничества так называемым направлениям. От этого беседовать с ним всегда приятно и очень нередко – даже полезно.

На этот раз г. Успенский писал о своей встрече и разговоре с пожилою дамою, которая припоминала перед ним недавнее прошлое и замечала, что тогда мужчины были *интереснее*. С виду они были очень форменны, ходили в узких мундирах, а между тем имели много одушевления, сердечного жара, благородства и занимательности – словом, того, что делает человека *интересным* и через что он нравится. Нынче, по замечанию дамы, этого стало меньше, да порою и совсем не встречается. По профессиям мужчины теперь

стали свободнее и одеваются как хотят и разные большие идеи имеют, а при всем том они стереотипны, они скучны и неинтересны.

Замечания пожилой дамы мне показались очень верными, и я предложил оставить тщетные кручины о том, чего читать не можем, и прочесть то, что предлагает г. Успенский. Предложение мое было принято, и рассказ г. Успенского всем показался справедливым. Пошли воспоминания и сравнения. Нашлось несколько человек, знавших лично недавно скончавшегося грузного генерала Ростислава Андреевича Фадеева; стали припоминать, сколько необыкновенного, живого интереса умел он являть своею особою, которая с виду была так мешковата и ничего будто не обещала. Вспомнили, как он даже под старость легко бывало овладевал вниманием самых умных и милых женщин, и ни одному из молодых и цветущих здоровьем щеголей никогда не удавалось взять перед ним первенство.

– Эко вы вещь какую указали! – отозвался на мои слова собеседник, который был всех в компании постарше и отличался наблюда-

тельностью. – Велико ли дело такому умному человеку, как был покойный Фадеев, заполнить себе внимание *умной* женщины! Умным женщинам, батюшка, жутко. Их, во-первых, на свете очень немного, а во-вторых – как они больше других понимают, то они больше и страдают и рады встрече с настоящим умным человеком. Тут simile simili curatur[16] или gaudet[17] – не знаю, как лучше сказать: «подобное подобному радуется». Нет, и вы и дама, с которою беседовал наш приятный писатель, берете очень свысока: вы выставляете людей отличных дарований, а по-моему более замечательно, что и гораздо ниже, в сферах самых обыкновенных, где, кажется, ничего особенного ожидать было невозможно, являлись живые и привлекательные личности, или, как их называли, «интересные мужчинки». И дамы, ими занятые, тоже были не из таких избранниц, которые способны «преклоняться» перед умом и талантом, а тоже, бывало, и такие, в своем роде, особы средней руки – очень бывали нежны и чувствительны. Как в глубоких водах, была в них своя скрытая теплота. Вот эти-то

средние люди, по-моему, еще чуднее, чем те, которые подходили к типу лермонтовских героев, в которых в самом деле ведь нельзя же было не влюбляться.

– А вы знаете какой-нибудь пример такого рода интересных средних людей с скрытою теплотою глубоких вод?

– Да, знаю.

– Так вот и рассказывайте, и пусть это будет нам хоть каким-нибудь возмещением за то, что мы лишены удовольствия читать Толстого.

– Ну, «возмещением» мой рассказ не будет, а для времяпровождения я вам расскажу одну старую историйку из самого невеликого армейско-дворянского быта.

## Глава вторая

Я служил в кавалерии. Стояли мы в Т. губернии, расположившись по разным деревням, но полковой командир и штаб, разумеется, находились в губернском городе. Городок и тогда был веселый, чистенький, просторный и с учреждениями – был в нем театр, клуб дворянский и большая, довольно нелепая, впрочем, гостиница, которую мы завоевали и взяли в свое владение почти бульшую половину ее номеров. Одни нанимали офицеры, которые имели постоянное пребывание в городе, а другие номера содержались для временно прибывающих из деревенских стоянок, и эти никому из посторонних людей не передавались, а так и шли все «под офицеров». Одни съезжают, а другие на их место приезжают – так и назывались «офицерскими».

Времяпровождение было, разумеется, – картеж и поклонение Бахусу, а также и богине радостей сердечных.

Игра велась порою очень большая – особенно зимою и во время выборов. Играли не в

клубе, а у себя в «номерах» – чтобы свободнее, без сюртуков и нараспашку, – и зачастую проводили за этим занятием дни и ночи. Пустее и бесчиннее время, кажется, и проводить нельзя было, и отсюда вы сами, верно, можете заключить, что мы за народ были о ту пору и какими главным образом мы одушевлялись идеями. Читали мало, писали еще того менее – и то разве после сильного проигрыша, когда нужно было обмануть родителей и выпросить у них денег сверх положения. Словом – хорошему среди нас поучиться было нечему. Проигрывались то между собою, то с приезжими помещиками – людьми такого же серьезного настроения, как мы сами, а в антрактах пили да приказных били, увозили да назад привозили купчих и актерок.

Общество самое пустое и забубенное, в котором молодые спешили равняться со старшими и все равно не представляли в своих особах ничего умного и достойного уважения.

Об отменной чести и благородстве тоже ни разговоров, ни рацей никогда не было. Ходили все по форме и вели себя по заведенному обыкновению – тонули в оргиях и в охлажде-



нии души и сердца ко всему нежному, высокому и серьезному. А между тем *скрытая теплота*, присущая глубоким водам, была и оказалась на нашем мелководье.

## Глава третья

Командир полка был у нас довольно уже пожилой – очень честный и бравый воин, но человек суровый и, как говорилось в то время, – «без приятностей для нежного пола». Ему было лет пятьдесят с чем-нибудь. Он был уже два раза женат, в Т. опять овдовел и снова задумал жениться на молоденькой барышне, происходившей из местного небогатого помещичьего круга. Звали ее Анна Николаевна. Имя этакое незначительное, и под кадриль тому – все в ней было такое же совершенно незначительное. Среднего роста, средней полноты, ни хороша, ни дурна, белокуренькие волосики, голубые глазки, губки аленькие, зубки беленькие, круглолица, белолица, на румяных щечках по ямочке – словом, особа не вдохновительная, а именно, что называется, – «стариковское утешение».

Познакомился с нею наш командир в со-

брании через ее брата, который служил у нас же корнетом, и через него же сделал ее родителям и предложение.

Просто это делалось – по-товарищески. Пригласил офицера к себе в кабинет и говорит:

– Послушайте – на меня ваша достойная сестра произвела самое приятное впечатление, но вы знаете – в мои года и при моем положении мне получить отказ будет очень неприятно, а мы с вами как солдаты – люди свои, и я вашей откровенностью, какова бы она ни была, нимало не обижусь... В случае – если хорошо, то хорошо, а если пожелают мне отказать, то боже меня сохрани от мысли, чтобы я стал иметь к вам через то какую-нибудь личность, но вы узнайте...

Тот так же просто отвечает:

– Извольте – узнаю.

– Очень благодарен.

– Могу ли, – говорит, – я для этой надобности отлучиться от своей части домой на три или четыре дня?

– Сделайте милость – хоть на неделю.

– И не позволите ли, – говорит, – поехать со

мною и моему двоюродному брату?

Брат двоюродный у него был почти такой же, как он, молоденький, розовый юноша, которого все за его юность и девственную свежесть так и называли «Саша-розан». Особенного описания ни один из этих молодых людей не заслуживает, потому что ни в одном из них ничего замечательного и выдающегося не было.

Командир замечает корнету:

– Для чего же вам нужен ваш двоюродный брат при таком семейном вопросе?

А тот отвечает, что именно при семейном-то вопросе он и нужен.

– Я, – говорит, – с отцом и с матерью должен буду разговаривать, а он в это время займется с сестрою и отвлечет ее внимание, пока я улажу дело с родителями.

Командир отвечает:

– Что же – в таком разе поезжайте оба с вашим двоюродным братом, – я его увольняю.

Корнеты поехали, и миссия их вышла вполне благоуспешна. Через несколько дней родной брат возвращается и говорит командиру:

– Если вам угодно, можете моим родителям написать или сделать ваше предложение словесно – отказа не будет.

– Ну, а как, – спрашивает, – сама ваша сестра?

– И сестра, – отвечает, – согласна.

– Но как она... то есть... рада этому или не рада?

– Ничего-с.

– Ну, однако... по крайней мере – довольна она или больше недовольна?

– По правде доложить, она ничего почти не обнаруживала. Говорит: «Как вам, папаша и мамаша, угодно – я вам повинуюсь».

– Ну да, это прекрасно, что она так говорит и повинуется, но ведь по лицу, в глазах, без слов девушку можно заметить, какое у нее выражение.

Офицер извиняется, что он, как брат, к лицу своей сестры очень привык и за выражением ее глаз не следил, так что ничего на этот счет определенного сказать не может.

– Ну, а двоюродный ваш брат мог заметить – вы могли с ним об этом говорить на обратном пути?

– Нет, – отвечает, – мы об этом не говорили, потому что я спешил исполнить ваше поручение и вернулся один, а его оставил у своих и вот имею честь представить от него рапорт о болезни, так как он захворал, и мы послали дать знать его отцу и матери.

– А-а! А что же с ним такое сделалось?

– Внезапный обморок и головокружение.

– Вон какая девичья немочь. Хорошо-с. Я вас очень благодарю, и так как теперь мы почти как родные, то прошу вас – останьтесь, пожалуйста, со мной вдвоем пообедать.

И за обедом все нет-нет да его о кузене и спросит – что он и как в их доме принят, и опять – при каких обстоятельствах с ним сделался обморок. А сам все молодого человека вином поит, и очень его подпоил, так что тот если бы имел в чем проговориться, то наверно бы проговорился; но ничего такого, к счастью, не было, и командир скоро на Анне Николаевне женился, мы все на свадьбе были и мед-вино пили, а оба корнета – родной брат и кузен – были даже у невесты шаферами, и ничего не было заметно ни за кем – ни сучка, ни занозочки. Молодые люди по-прежнему кути-

ли, а новая наша полковница скоро начала авантажнуть в турнюре, и особые желания у нее являлись во вкусе. Командир этим радовался, мы все, кто чем мог, старались споспешествовать ее капризам, а молодые люди – ее брат с кузенком – в особенности. Бывало, то за тем, то за другим так тройки в Москву и скачут, чтобы доставить ей что-либо желанное. И вкусы у нее, помню, всё сказывались не избранные, всё к вещам простым, но которых не всегда отыщешь: то султанского финика ей захочется, то ореховой халвы греческой – словом, все простое и детское, как и сама она глядела детенком. Наконец настал и час воли божией, а их супружеской радости, и из Москвы привезли для Анны Николаевны акушерку. Как сейчас помню, что приехала эта дама в город во время звона к вечерне, и мы еще посмеялись: «Вот, мол, фараонскую бабу со звоном встречают! Что-то за радость через нее будет?» И ждем этого, точно это в самом деле какое-нибудь общее полковое дело. А тем временем является неожиданное происшествие.

## Глава четвертая

Если вы читали у Брет-Гарта, как какие-то малопутящие люди в американской пустыне были со скуки заинтересованы рождением ребенка совершенно постороннюю им женщиною, то вы не станете удивляться, что мы, офицеры, кутилы и тоже беспутники, все внимательно занялись тем, что Бог дарует дитя нашей молоденькой полковнице. Вдруг это почему-то получило в наших глазах такое общественное значение, что мы даже распорядились отпировать появление на свет новорожденного и с этою целью заказали своему трактирщику приготовить усиленный запас шипучего, а сами – чтобы не заскучать – сели под вечерний звон «резаться», или, как тогда говорилось, «трудиться для пользы императорского воспитательного дома».

Повторяю, что это было у нас и занятие, и обыкновение, и работа, и самое лучшее средство, которое мы знали для того, чтобы преодолевать свое скучание. И нынче это производилось точно так же, как и всегда: заначали бдение старшие, ротмистры и штаб-рот-

мистры с пробивающеюся сединою на висках и усах. Они сели именно как раз, когда в городе звонили к вечерне и горожане, низко раскланиваясь друг с другом, тянулись в церкви исповедоваться, так как описываемое мною событие происходило в пятницу на шестой неделе Великого поста.

Ротмистры посмотрели на этих добрых христиан, поглядели и вслед акушерке, а потом с солдатскою простотою пожелали всем им удачи и счастья, какое кому надобится, и, спустив в большом номере оконные шторы из зеленого коленкора, зажгли канделябры и пошли метать «направо, налево».

Молодежь же еще сделала несколько концов по улицам и, проходя мимо купеческих домов, перемигнулась с купеческими дочками, а потом, при ступившихся сумерках, тоже явилась к канделябрам.

Я отлично помню этот вечер, как он стоял и по ту и по другую сторону опущенных штор. На дворе было превосходно. Светлый мартовский день сгас румяным закатом, и все оттаявшее на угреве опять подкрепилось, — стало свежо, а в воздухе все-таки поведало ве-



сенним запахом, и сверху слышались жаворонки. Церкви были полуосвещены, и из них тихо выходили поодиночке сложившие свои грехи исповедники. Тихо, поодиночке же брели они, ни с кем не говоря, по домам и исчезали, храня глубокое молчание. На всех на них была одна забота, чтобы ничем себя не развлечь и не лишиться водворившихся в их душах мира и безмятежности.

Тишина разом скоро стала во всем городе – и без того, впрочем, нешумном. Запирались ворота, за заборами послышалось дергание собачьих цепей по веревкам; заперлись маленькие трактиры, и только у занимаемой нами гостиницы вертелись два «живейные» извозчика, поджидавшие, что они нам на что-нибудь понадобятся.

В эту пору вдалеке, по подмерзшему накату большой улицы, застучали большие дорожные троечные сани, и к гостинице подъехал незнакомый рослый господин в медвежьей шубе с длинными рукавами и спросил: «Есть номер?»

Это случилось как раз в то время, как я и еще двое из молодых офицеров подходили к

подъезду гостиницы после обхода дозором окошек, в которых имели обыкновение показываться нам недоступные купеческие барышни.

Мы слышали, как приезжий спросил себе номер и как вышедший к нему старший коридорный Марко назвал его «Августом Матвейчем», поздравил его с счастливым возвращением, а потом отвечал на его вопрос:

– Не смею, сударь Август Матвейч, солгать вашей милости, что номера нет. Номерок есть-с, но только я опасуюсь – останетесь ли вы им, сударь, довольны?

– А что такое? – спросил приезжий, – нечистый воздух или клопы?

– Никак нет – нечистоты, изволите знать, мы не держим, а только у нас очень много офицеров стоят...

– Что же – шумят, что ли?

– Н... н... да-с, знаете – холостежь, – ходят, свищут... Чтобы вы после не гневались и неудовольствия на нас бы не положили, потому как мы их ведь утихомирить не можем.

– Ну вот – еще бы вы смели сами офицеров усмирять! После этого на что бы уже и на све-

те жить... Но, я думаю, с усталости переночевать можно.

– Оно точно, можно, но только я хотел, чтобы вперед это вашей милости объяснить, а то, разумеется, можно-с. Затем позвольте брать чемодан и подушки?

– Бери, братец, бери. Я от самой Москвы не останавливался и так спать хочу, что никакого шума не боюсь – мне никто не помешает.

Лакей повел помещать гостя, а мы проследовали в главный номер – эскадронного ротмистра, где шла игра, в которой теперь принимала участие уже вся наша компания, кроме полковницына кузена Саши, который жаловался на какое-то нездоровье, не хотел ни пить, ни играть, а все прохаживался по коридору.

Родной брат полковницы ходил с нами на купеческое обозрение и с нами же присоединился и к игре, а Саша только вошел в игровой номер, и сейчас же опять вышел и опять стал прохаживаться.

Странен он был как-то, так что даже пришлось обратить на него внимание. На вид он казался в самом деле как будто просто не в

своей тарелке – не то болен, не то грустен, не то расстроен, а станешь в него всматриваться – будто и ничего. Только сдавалось, будто он мысленно от всего окружающего отошел и занят чем-то далеким и для всех нас посторонним. Все мы слегка над ним подтрунили, что, мол, «ты не акушеркою ли заинтересовался», а впрочем, никакого особенного значения его поведению не придали. В самом деле – он был еще очень молодой человек и в настоящее офицерское питье «из девяти элементов» еще как следует не втравился. Вероятно, ослабел от бывших перед тем трудов и притих. Притом же в комнате, где играли, было, по обыкновению, сильно накурено, и голова могла разболеться; да могло быть, что и финансы у Саши были в беспорядке, потому что он в последнее время азартно играл и часто бывал в значительном проигрыше, а он был мальчик с правилами и стыдился часто беспокоить родителей.

Словом – мы оставили этого молодого человека бродить тихими шагами по суконному половику, застилавшему коридор, а сами резались, пили и закусывали, спорили и шу-

мели, и совсем позабыли и о течении ночных часов и о торжественном событии, которое ожидалось в командирском семействе. А чтобы забвение это вышло еще гуще – около часа за полночь все мы были развлечены одним неожиданным обстоятельством, которое подвел нам тот самый незнакомый приезжий, которого мы встретили, как я вам сказал, выходящим из дорожных саней на ночлег в нашу гостиницу.

## Глава пятая

Во втором часу ночи в комнату, где мы играли, явился старший коридорный Марко и, помявшись, доложил, что приезжий «княжеский главноуправитель», остановившийся в таком-то номере, прислал его к нам извиниться и доложить, что он не спит и скучает, а потому просит – не позволят ли ему господа офицеры прийти и принять участие в игре?

– Да ты знаешь ли этого господина? – спросил старший из наших офицеров.

– Помилуйте, как же не знать Августа Матвеича? Их здесь все знают – да они и по всей России, где только есть княжьи имения,

всем известны. Август Матвейч самую главную доверенность имеет на все княжеские дела и вотчины и близко сорока тысяч в год одного жалованья берет. (Тогда еще считали на ассигнации.)

– Поляк он, что ли?

– Из поляков-с, только барин отличный и сам в военной службе служил.

Слугу, который нам докладывал, все мы считали за человека добропорядочного и нам преданного. Очень смышленный был и набожный – все ходил к заутрене и на колокол в свой приход в деревню собирал. А Марко видит, что мы заинтересовались, и поддерживает интерес.

– Август Матвейч теперь, – говорит, – из Москвы едет, как слух был – два имения княжеские в совет заложивши, и должно быть с деньгами – желают порассеяться.

Наши переглянулись, перешепнулись и решили:

– Что же нам всё свои-то лобанчики из кошелька в кошелёк перелобанивать. Пусть придет свежий человек и освежит нас новым элементом.

– Что же, – говорим, – пожалуй, но только ты нам отвечаешь: есть ли у него деньги?

– Помилуйте! Август Матвейч никогда без денег не бывают.

– А если так, то пусть идет и деньги несет – мы очень рады. Так, господа? – обратился ко всем старший ротмистр.

Все отвечали согласием.

– Ну и прекрасно – скажи, Марко, что просим пожаловать.

– Слушаю-с.

– Только того... про всякий случай намеки или прямо скажи, что мы хоть и товарищи, но даже между собою непременно на наличные деньги играем. Никаких счетов, ни расписок – ни за что.

– Слушаю-с – да это не беспокойтесь. У него во всех местах деньги.

– Ну и проси.

Через самое малое время, сколько надо было человеку не франту одеться, растворяется дверь, и в наше облако дыма входит очень приличный на вид, высокий, статный, пожилых лет незнакомец – в штатском платье, но манера держаться военная и даже, можно

сказать, этакая... гвардейская, как тогда было в моде, – то есть смело и самоуверенно, но с ленивой грацией равнодушного пресыщения. Лицо красивое, с чертами, строго размещенными, как на металлическом циферблате длинных английских часов Грагама. Стрелка в стрелку так весь многосложный механизм и ходит.

И сам-то он как часы длинный, и говорит он – как Грагамов бой отчеканивает.

– Прошу, – начинает, – господа, извинения, что позволил себе напроситься в вашу дружескую компанию. Я такой-то (назвал свое имя), спешу из Москвы домой, но устал и захотел здесь отдохнуть, а меж тем услышал ваш говор – и «покой бежит от глаз». Как старый боевой конь, я рванулся и приношу вам искреннюю благодарность за то, что вы меня принимаете.

Ему отвечают:

– Сделайте милость! сделайте милость! Мы люди простые и едим пряники неписанные. Мы все здесь товарищи и держим себя без всяких церемоний.

– Простота, – отвечает он, – всего лучше, ее



любит бог, и в ней поэзия жизни. Я сам служил в военной службе и хотя по семейным делам вынужден был ее оставить, при самом счастливом ходе, но военные привычки во мне остались, и я враг всех церемоний. Но вы, я вижу, господа, в сюртуках, а здесь жарко?

– Да, признаться, мы только сейчас надели сами сюртуки для встречи незнакомого человека.

– Ай, как не стыдно! А я этого-то и боялся. Но если уже вы были так любезны, что меня приняли, то вы на первом шагу нашего знакомства ничем не можете мне сделать такого истинного удовольствия, как если освободите себя и останетесь снова, как было до моего прихода.

Офицеры позволили склонить себя к этому и остались в одних жилетах – причем потребовали точно такого же дезабилье и от незнакомца. Август Матвейч охотно сбросил с себя ловко и солидно сшитую венгерку с голубою шелковою подкладкою в рукавах и не отказался выпить «для знакомства со всеми» рюмку водки.

Все по рюмке выпили и закусили и при

этом случае вспомнили о «кузене» Саше, который все еще продолжал свою прогулку по коридору.

– Позвольте, – говорят, – здесь нет одного из наших. Позвать его сюда!

А Август Матвеич и говорит:

– Вы верно, недосчитываетесь этого интересного молодого корнета, который там ходит в милой задумчивости по коридору?

– Да, его. Позовите его сюда, господа!

– Да он не идет.

– Что за пустяки такие!.. Премилый молодой товарищ и уже хорошо повел курс наук по питью и игре, и вдруг что-то сегодня изменил и осовел. Возьмите его сюда, господа, силу.

Этому запротиворечили, и послышалось несколько замечаний, что, быть может, Саша в самом деле болен.

– Какой черт – я головою отвечаю, что он просто устал или хандрит с непривычки от большого проигрыша.

– А корнет много проиграл?

– Да – в последнее время ему ужасно не везло, он был постоянно как-то вне себя и по-

стоянно проигрывал.

– Скажите пожалуйста – это бывает; но у него такой вид, как будто он не столько несчастлив в картах, как несчастлив в любви.

– А вы его видели?

– Да; и притом я в него всмотрелся совершенно случайно. Он так задумчив и потерян, что зашел ошибкою в мой номер вместо своего и, не видя меня на постели, направился было прямо к комоду и стал что-то искать. Я даже подумал, не лунатик ли он, и позвал Марко.

– Что за удивление!

– Да, и когда Марко спросил его, что ему угодно, – он точно не скоро понял, в чем дело, а потом, бедняжка, очень сконфузился... Я вспомнил старые годы и подумал: верно тут зазноба сердечная!

– Ну уж и зазноба. Пройдет это все. Вы, господа, в Польше слишком много значения придаете этим сентиментам, а мы, москали, народ грубый.

– Да, но вид этого молодого человека не говорит о грубости: он, напротив, нежен и показался мне встревоженным или беспокойным.

– Он просто устал, и над ним, по нашей философии, надо употребить насилие. Господа, выйдите вы кто-нибудь двое и введите сюда Сашу, пусть он оправдается против подозрений в безнадежной любви!

Два офицера вышли и вернулись с Сашей, на молодом лице которого блуждали, поборая друг друга, усталость, конфуз и улыбка.

Он говорил, что ему действительно нездоровится, но что более всего его смущает то, что с него беспрестанно требуют отчета. Когда же ему пошутили, что «даже незнакомец» заметил в нем «страданье сердца от амура», Саша вдруг вспыхнул и взглянул на нашего гостя с невыразимой ненавистью, а потом сердито и резко оторвал:

– Это вздор!

Он просил позволения уйти к себе в номер и лечь спать, но ему напомнили, что сегодня ожидается важное событие, которое все желают вместе приветствовать, и потому оставить компанию непозволительно. При напоминании об ожидаемом «событии» Саша опять побледнел.

Ему сказали:

– Уйти нельзя, но выпей свою очередную рюмку водки, и если не хочешь играть, то сними сюртук и ложись здесь на диване. Когда там закричит дитя, – мы услышим и тебя разбудим.

Саша повиновался, но не вполне: рюмку водки он выпил, но сюртука не снял и не лег, а сел в тени у окна, где от дурно вставленной рамы ходил холодок, и стал смотреть на улицу.

Ждал ли он кого и высматривал или так просто его беспокоило что-то внутреннее – не могу вам сказать; но он все глядел, как мерцает огонек в фонаре, которым качал и скрипел ветер, и то откинется в глубь кресла, то точно хочет сорваться и убежать.

Наш незнакомец, с которым я сидел рядом, замечал, что я наблюдаю за Сашей, и сам наблюдал его. Я это должен был видеть по его взглядам и по тому, что он сказал мне, а он сказал мне вполголоса следующие дрянные слова, которых я не могу позабыть во всю жизнь:

– Вы дружны с этим вашим товарищем?

При этом он метнул глазами в сторону опу-

стившегося Саши.

– Ну, разумеется, – отвечал я с легким задором молодости, усмотревшей в таком вопросе неуместную фамильярность.

Август Матвеич заметил это и тихо пожал под столом мою руку. Я посмотрел на его солидное и красивое лицо, и опять, по какой-то странной ассоциации идей, мне пришли на память никогда себе не изменяющие английские часы в длинном футляре с грагамовским ходом. Каждая стрелка ползет по своему назначению и отмечает часы, дни, минуты и секунды, лунное течение и «звездные зодии», а все тот же холодный и безучастный «фрон»: указать они могут всё, отметят всё – и останутся сами собою.

Примилив меня с собою ласковым рукопожатием, Август Матвеич продолжал:

– Не сердитесь на меня, молодой человек. Поверьте, я не хочу сказать о вашем товарище ничего дурного, но я немало жил, и его положение мне что-то внушает.

– В каком смысле?

– Оно мне кажется каким-то... как вам это сказать... феральным: оно глубоко меня трога-

ет и беспокоит.

– Даже уже и беспокоит?

– Да, именно – беспокоит.

– Ну, смею вас уверить, что это совершенно напрасное беспокойство. Я хорошо знаю все обстоятельства этого моего товарища и ручаюсь вам, что в них нет ничего, что могло бы смутить или оборвать течение его жизни.

– *Оборвать!* – повторил он за мною, – *c'est le mot!*[18] Вот именно слово... «оборвать течение жизни»!

Меня неприятно покорибило. Зачем это я сам именно так выразился, что дал повод незнакомцу ухватиться за мое выражение?

Август Матвейч мне вдруг начал не нравиться, и я стал с недоброжелательством смотреть на его точный грагамовский циферблат. Что-то гармоничное и вместе с тем какое-то давящее и неотразимое. Идет, идет – и проиграют куранты, и опять идет далее. И все на нем какое-то отменное... Вон рукава его рубашки, которая несравненно тоньше и белее всех наших, а под нею красная шелковая фуфайка как кровь сверкает из-под белых манжет. Точно он снял с себя свою живую кожу

да чем-то только обернулся. А на руке у него женский золотой браслет, который то поднимается к кисти, то снова упадет и спрячется вниз за рукав. На нем явно читается польскими буквами исполненное русское женское имя «Olga».

Мне почему-то досадно за эту «Ольгу». Кто она и что она ему такое – родная или любовница, – мне все равно досадно.

Чего, зачем и почему? Не знаю. Так, – одна из тысячи глупостей, невесть откуда приходящих затем, чтобы «смутить смысл смертного».

Но я вспоминаю, что мне надо отделаться от своего слова «*оборвать*», которому он придал вовсе нежеланное значение, и говорю:

– Я жалею, что я так выразился, – но сказанное мною слово не может иметь никакого двойного значения. Мой товарищ молод, имеет состояние, он один сын у родителей и всеми любим...

– Да, да, но тем не менее... он не хорош.

– Я вас не понимаю.

– Ведь он смертен?

– Разумеется, как вы и я, – как целый свет.



– Совершенно справедливо, но только людей целого света я не вижу, а ни на мне, ни на вас нет этих роковых знаков, как на нем.

– Каких «роковых знаков»? О чем вы говорите?

Я очень неуместно рассмеялся.

– Зачем же вы смеетесь над этим?

– Да, извините, – говорю, – я сознаю невежливость моего смеха, но вы представьте мое положение: мы с вами глядим на одно и то же лицо, и вы мне рассказываете, будто видите на нем что-то необыкновенное, тогда как я решительно ничего не вижу, кроме того, что всегда видел.

– Всегда? Этого не может быть.

– Я вас уверяю.

– Гиппократовы черты!

– В этом ничего не понимаю.

– Как не понимаете? Есть такой agent psychique.[19]

– Не понимаю, – сказал я, чувствуя, что это слово наволокло на меня какой-то глупый страх.

– Agent psychique, или гиппократовы черты, – это непостижимые, роковые, странные

обозначения, которые давно известны. Эти неуловимые черты появляются на лицах людей только в роковые минуты их жизни, только накануне того, когда предстоит свершить «великий шаг в страну, откуда путник к нам еще не возвращался»... Эти черты превосходно умеют наблюдать шотландцы и индусы Голубых гор.

– Вы были в Шотландии?

– Да, – я в Англии учился сельскому хозяйству и путешествовал по Индостану.

– И что же – вы говорите, что видите известные вам проклятые черты теперь на добром Саше?

– Да; если этот молодой человек сейчас называется Саша, то я думаю, что он скоро получит другое имя.

Я почувствовал, что меня прошел насквозь какой-то ужас, и несказанно обрадовался, что в это самое время к нам подошел один из наших офицеров, сильно подгулявший, и спросил меня:

– Что ты – о чем с этим барином ссоришься?

Я отвечал, что мы вовсе не ссоримся, но

что у нас шел вот какой странный и смутивший меня разговор.

Офицер, малый простой и решительный, посмотрел на Сашу и сказал:

– Он в самом деле какой-то скверный! – Но вслед за тем обратился к Августу Матвеичу и сурово спросил:

– А вы что же – френолог или предсказатель?

Тот отвечал:

– Я не френолог и не предсказатель.

– А так – черт знает что?

– Ну и это тоже нет – я не «черт знает что», – отвечал тот спокойно.

– Так что же вы: стало быть, колдун?

– И не колдун.

– А кто же?

– *Мистик.*

– Ага! вы *мистик!*.. это значит – вы любите поиграть в вистик. Знаю, знаю, видали мы таких, – протянул офицер и, будучи без того уже порядком пьян, снова отправился еще повредить себя водкою.

Август Матвеич посмотрел на него не то с сожалением, не то с презрением. Обознача-

тельные стрелки на его циферблате передвинулись; он встал, отошел к играющим, декламируя себе под нос из Красинского:

*Ja Boga nie chce, ja nieba nie czuje,  
Ja w niebo nie pôjde...[20]*

Мне вдруг сделалось так не по себе, точно я беседовал с самим паном Твардовским, и я захотел себя приободрить. Я еще далее отошел от карточного стола к закусочному и позамешкался с приятелем, изъяснявшим по-своему слово «мистик», а когда меня через некий час волною снова подвинуло туда, где играли в карты, то я застал уже талию в руках Августа Матвеича.

У него были огромные записи выигрышей и проигрышей, и на всех лицах по отношению к нему читалось какое-то нерасположение, выражавшееся даже отчасти и задорными замечаниями, которые ежеминутно угрожали еще более обостриться и, может быть, сделаться причиною серьезных неприятностей.

Без неприятностей как-то дело не представлялось ни на минуту – словно на то было

будто какое-то, как мужички говорят, «приделение».

## Глава шестая

Когда я подошел к игравшим, кто-то из наших заметил, например, Августу Матвейчу, что браслет, прыгавший вверх и вниз по его руке, мешает ему свободно метать талию. И тут же добавил:

– Вы бы, может быть, лучше сняли с себя это женственное украшение.

Но Август Матвейч и на этот раз выдержал спокойствие и отвечал:

– Да снять бы лучше, это так, но я не могу воспользоваться вашим добрым советом: эта вещь наглухо заклепана на моей руке.

– Вот фантазия – изображать из себя невольника!

– А почему бы и нет? – иногда очень хорошо чувствовать себя невольником.

– Ага! и поляки это, наконец, признали!

– Как же – что до меня, то я с самых первых дней, когда мне стали доступны понятия о добре, истине и красоте, признал, что они достойны господствовать над чувствами и во-

лей человека.

– Но в ком бывают совмещены все эти идеалы?

– Конечно, в лучшем творении бога – в женщине.

– Которую зовут Ольгою, – пошутил кто-то, прочитав имя на браслете.

– Да – вы угадали: имя моей жены Ольга. Не правда ли, какое это прекрасное русское имя и как отрадно думать, что русские хоть его не заняли у греков, а нашли в своем родном обиходе.

– Вы женаты на русской?

– Я вдов. Счастье, какого я был удостоен, было так полно и велико, что не могло быть продолжительно, но я о сию пору счастлив воспоминанием о русской женщине, которая находила себя со мною счастливою.

Офицеры переглянулись. Ответ показался им немножко колким и куда-то направленным.

– Черт его возьми! – проговорил кто-то, – не хочет ли этот заезжий сказать, что господа поляки особенно милы и вежливы и что наши женщины без ума от их любезности.

Тот непременно должен был это слышать, даже посмотрел молча в сторону говорившего и улыбнулся, но тотчас же снова начал метать очень спокойно и чисто. За ним, разумеется, во все глаза смотрели понтеры, но никто из них не замечал ничего нехорошего. Вдобавок, никакое подозрение в нечестности игры не могло иметь и места, потому что Август Матвеич был в очень значительном проигрыше. Часам к четырем он заплатил уже более двух тысяч рублей и, окончив расчет, сказал:

– Если вам, господа, угодно продолжать игру, то я еще закладываю тысячу.

Выигравшие офицеры, по принятому этикету банковской игры, находили неловким забастовать и отвечали, что они будут понтировать.

Некоторые только, отвернувшись, пересмотрели заплаченные Августом Матвеичем деньги, но в содержании оные одобрили.

Все было в совершенном порядке, он всем заплатил самыми достоверными и несомненными ассигнациями.

– Далее, господа, – сказал он, – я не могу положить на стол перед вами ходячей монеты,

так как все, что у меня было в этом виде, от меня уже ушло. Но у меня есть банковые билеты по пятисот и по тысяче рублей. Я буду ставить билеты и для удобства прошу вас на первый раз разменять мне пару таких билетов.

– Это возможно, – отвечали ему.

– В таком случае я сейчас буду иметь честь представить вам два билета и попрошу вас их рассмотреть и разменять на деньги.

С этими словами он поднялся с места, подошел к своему сюртуку, который лежал на диване неподалеку от сидевшего в непробудном самоуглублении Саши, и стал шарить по карманам. Но это выходило долго, и потом вдруг Август Матвеич отшвырнул от себя прочь сюртук, взялся рукою за лоб, пошатнулся и едва не упал на пол.

Движение это было тотчас же всеми замечено и показалось до такой степени истинным и неподдельным, что Август Матвеич возбудил во многих живое участие. Два или три человека, находившиеся к нему ближе, участливо воскликнули: «что с вами такое?» и кинулись его поддержать.



Гость наш был очень бледен и на себя не похож. Я в этот раз впервые еще видел, как большое и неожиданное горе вдруг перевертывает и моментально старит очень сильно-го и самообладающего человека, каким, мне казалось, надлежало считать появившегося среди нас на свое и на наше несчастье княжеского главноуправителя. Моментально постигающее человека неожиданное горе его как-то трет, мнет и комкает, как баба тряпку на портомойне, и потом колотит вальком, пока все из него не выколотит. Не умею и не стану вам описывать лицо и взгляды Августа Матвеича, но живо помню досадное и неуважительное по отношению к его горю сравнение, которое мне пришло в голову, когда я в числе других подался к главноуправителю и приблизил к его лицу свечу. Это опять касалось часов и циферблата, и притом одного смешного с ними случая.

Отец мой имел страсть к старым картинам. Он их много разыскивал и портил: он сам их размывал и покрывал новым лаком. Мы, бывало, смотрим, как он привезет откуда-нибудь старую картину, и видим темнова-

тую ровную поверхность, на которой все колера как-то мирно стушевались и сгладились во что-то неразборчивое, но гармоническое, под слоем потемневшего лака; но вот по этой картине проехала губка, напитанная скипидаром; остеклившийся лак пошел сворачиваться, проползли грязные потоки, и все тоны той же самой картины зашевелились, изменились и, кажется, пришли в беспорядок. Она стала как будто не она – именно потому, что теперь-то она и являлась глазам сама собою, как есть, без лакировки, которая ее усмиряла и сглаживала. И мне вспомнилось, как мы раз, подражая отцу, хотели так же *умыть* циферблат на часах в нашей детской и, к ужасу своему, увидали, что изображенный на нем Бука с корзинкою, в которой сидели непослушные дети, вдруг потерял свои очертания и наместо очень храброго лица являл что-то в высшей степени двусмысленное и смешное.

Нечто такое же являет собою в несчастье и живой человек, даже самообладающий, а иногда и гордый. Горе срывает с него лак, и вдруг всем становятся видны его пожухлые тоны и давно прорвавшиеся до грунта трещи-

ны. Но наш гость был еще сильнее многих: он владел собою – он старался оправиться и заговорил:

– Извините, господа, – совершенные пустяки... Я только прошу вас не обращать на это внимания и отпустить меня к себе, потому что... мне... сделалось дурно: извините – я продолжать игры не могу.

И Август Матвеич обратил ко всем свое лицо, глядевшее теперь совершенно смытым циферблатом, но он еще силился держать любезную улыбку. Очевидно, он хотел «уйти без истории», но в это самое мгновение кто-то из наших, тоже, конечно, находившийся под влиянием лишней рюмки, задорно крикнул:

– У вас еще раньше этого не было ли дурно?

Поляк побледнел.

– Нет, – отозвался он скоро и сильно возвысив голос, – нет, со мною никогда еще не бывало *так дурно*. Кто говорит и думает иначе, тот ошибается... Я сделал неожиданное открытие... я имею слишком достаточную причину, чтобы отменить мое намерение продолжать игру, и решительно не понимаю: что и

кому от меня угодно!

Тут все заговорили:

– О чем это он? От вас, милостивый государь, ничего не угодно и никто ничего не требует. Но это любопытно: какое такое вы сделали, находясь среди нас, открытие?

– Никакое, – отвечал поляк и, поблагодарив поклоном офицеров, поддерживавших его ввиду охватившей его мгновенной слабости, добавил – Вы, господа, меня совсем не знаете, и репутация моя, отрекомендованная вам коридорным слугою, не может вам много говорить в мою пользу, а потому я не нахожу возможным продолжать дальнейший разговор и желаю вам откланяться.

Но его удержали.

– Позвольте, позвольте, – заговорили к нему, – этак невозможно.

– Я не знаю – почему «этак невозможно». Я заплатил все, что проиграл, а дальше игры продолжать не желаю и прошу освободить меня из вашего общества.

– Тут не о плате...

– Да, не о плате-с.

– Так о чем же еще?.. Спрашиваю: «Что вам

удовно?» – вы отвечаете, что вам от меня «ничего не угодно»; уйду молча – вы снова в какой-то претензии... Что такое, черт возьми! Что такое?

Тут к нему подошел один из усатых ротмистров – «товарищ в битвах поседелый», муж бывалый в картежных столкновениях различного рода.

– Милостивый государь! – заговорил он, – позвольте мне объясниться с вами одному от лица многих.

– Я очень рад, – хотя совершенно не вижу, о чем нам объясняться.

– Я вам сейчас это изложу.

– Извольте.

– Я и мои товарищи, милостивый государь, действительно вас не знаем, но мы приняли вас в свою компанию с нашею простою русскою доверчивостию, а между тем вы не могли совершенно скрыть, что вас поразила какая-то внезапность... И это в нашем кружке... Вы, милостивый государь, упомянули слово «репутация». У нас, черт возьми! – надеюсь, тоже есть репутация... Да-с! Мы вам верим, но вас тоже просим довериться нашей честно-

сти.

– Охотно-с, – перебил поляк, – охотно! – и протянул руку, которую ротмистр как бы не заметил, и продолжал:

– Я вам ручаюсь моею рукою и головою, что вас не ожидает здесь ни малейшая неприятность, и всякий, кто позволит себе чем бы то ни было, хотя бы отдаленным намеком, оскорбить вас здесь до разбора дела, тот будет иметь во мне вашего защитника. Но это дело так остаться не может; ваше поведение нам кажется странным, и я прошу вас от лица всех здесь присутствующих, чтобы вы успокоились и серьезно нам объяснили, действительно ли вы внезапно заболели или вы что-нибудь заметили и с вами что-нибудь случилось. Просим вас сказать это нам откровенно в одно слово.

Все подхватили: «да, мы все просим, все просим!» И действительно все просили. Движение сделалось всеобщее. К нему не присоединялся разве только один Саша, который по-прежнему оставался в своей глупой потерянности, но и он встал с своего места – произнес: «Как это противно!» и оборотился ли-

цом к окну.

А поляк, когда мы к нему так круто приступили, не потерялся, а, напротив, даже приосанился, развел руками и сказал:

– Ну, в таком случае, господа, я вас прошу меня извинить: я ничего не хотел говорить и все хотел снести на моем сердце, но когда вы меня честью обязываете вам сказать – что со мною сделалось, я повинуюсь чести и, как честный человек и дворянин...

Кто-то не выдержал и крикнул:

– Не слишком ли долго все о чести!

Ротмистр сердито посмотрел в сторону, откуда это было сказано, а Август Матвеич продолжал:

– Как честный человек и дворянин, я скажу вам, что у меня, господа, кроме того, сколько я проиграл вам, было еще с собою в бумажнике двенадцать тысяч рублей банковыми билетами по тысяче и по пятисот рублей.

– Вы их имели при себе? – спросил ротмистр.

– Да, при себе.

– Вы хорошо это помните?

– Без малейшего сомнения.

– И теперь их нет?

– Да; это вы сказали: их нет.

Пьяный офицер опять было крикнул:

– Да они были ли?

Но ротмистр еще строже ответил:

– Прошу молчать! Господин, которого мы видим, не смеет лгать. Он знает, что такими вещами в присутствии порядочных людей не шутят, потому что такие шутки кровью пахнут. А что мы действительно порядочные люди – это мы должны доказать делом. Никто, господа, ни с места, а вы, поручик такой-то, и вы, и вы еще (он назвал трех из товарищей) извольте сейчас запереть на ключ все двери и положить ключи здесь, у всех на виду. Первый, кто захотел бы теперь отсюда выйти, должен лечь на месте, но я надеюсь, что из нас, господа, никто этого не сделает. Никто не смеет сомневаться, что из нас ни один не может быть виноват в пропаже, о которой говорит этот проезжий, но это должно быть доказано.

– Да, да, без сомнения, – вторили офицеры.

– И когда это будет доказано, тогда начнет-



ся второе действие, а теперь, оберегая нашу честь и гордость, все мы, господа, обязаны немедленно, не выходя отсюда, позволить себя обыскать до нитки.

– Да, да, обыскать, обыскать! – заговорили офицеры.

– И до нитки, господа! – повторил ротмистр.

– До нитки, до нитки!

– Мы все по очереди донага разденемся перед этим господином. Да, да, как мать родила – донага, чтобы нельзя было нигде ничего спрятать, и пусть он сам обыщет нас каждого. Я всех вас старше летами и службою, и я первый подвергаю себя этому обыску, в котором не должно быть ничего унижительного для честных людей. Прошу отойти от меня далее и стать всем в ряд, – я раздеваюсь.

И он стал скоро и порывисто снимать с себя все, до носков на ногах, и, положив вещи на полу перед управляющим, поднял над головою руки и сказал:

– Вот я весь – как рекрут на приеме стою. Прошу обыскивать мои вещи.

Август Матвейч начал было отнекиваться

и уклоняться под тем довольно справедливым предлогом, что он подозрений не заявлял и обыска не требовал.

– Э-э! нет, это стара шутка, – заговорил, весь побагровев и засверкав гневно глазами, ротмистр и затопотал босыми пятками по полу. – Теперь поздно, милостивый государь, деликатничать... Я недаром перед вами раздевался... Прошу вас осмотреть мои вещи до нитки! Иначе я, голый, сию же минуту и тут же убью вас вот этим стулом.

И тяжелый трактирный стул заходил в его волосатой руке по воздуху над головою Августа Матвеича.

## Глава седьмая

**А**вгуст Матвеич волей-неволей нагнулся к разложенному на полу гардеробу ротмистра и стал трогать вещи для вида.

Голые пятки по полу затоптали еще сильнее, и с их тупым выстукиванием раздался задушенный, шипящий со свистом голос:

– Не так ищут, не так! Держите меня, или я кинусь на него и задущу его, если он не будет нас обыскивать как следует!

Ротмистр был буквально вне себя и так весь трясся от гнева, что даже дрожал густой черный мох на подмышках его мускулистых рук, которые он теперь судорожно сжал снова над своею головою.

Поляк, однако, оказался молодцом и нима-ло не сробел перед бешеным порывом ротмистра: он окинул спокойным взглядом его лицо и его подмышки, в которых точно будто дрожали две черные крысы, и сказал:

– Извольте – и хотя я уверен, что вы несомненно честный человек, я, по вашему требованию, буду обыскивать вас как вора.

– Да, черт возьми, – я честный человек, и я

непременно требую, чтобы вы обыскивали меня *как вора!*

Август Матвеич его обыскал и, разумеется, ничего не нашел.

– Итак, я чист от подозрений, – сказал ротмистр. – Прошу других следовать моему примеру.

Другой офицер разделся, и его обыскали таким же образом, потом третий, и так все мы по очереди уже позволили себя осмотреть, и оставался еще не обысканным только один Саша, как вдруг в ту самую минуту, когда до него дошла очередь, в дверь из коридора раздался стук.

Мы все вздрогнули.

– Не пускать никого! – скомандовал ротмистр.

Стук повторился настойчивее.

– Да какой это черт там ломится? Мы не можем пустить никого постороннего на такое срамное дело. Кто бы это ни был – прогнать его к дьяволу.

Но стук снова повторился, и вместе с тем послышался знакомый голос:

– Прошу отворить – это я.

Голос принадлежал нашему полковнику.

.....

.....

Офицеры переглянулись.

– Откройте же, господа, двери, – просил полковник.

– Откройте! – сказал, застегиваясь, ротмистр.

Двери отперли, и командир, очень мало нами любимый, вошел приятельски с редко посещавшей его лицо ласковой улыбкой.

– Господа! – заговорил он, не успев оглядеться, – у меня дома все благополучно, и я после пережитых мною тревожных минут вышел пройтись по воздуху и, зная ваше товарищеское желание разделить мою семейную радость, сам зашел сказать вам, что мне бог дал дочь!

Мы стали его поздравлять, но поздравления наши, разумеется, были не так живы и веселы, как полковник вправе был ожидать по тому, что узнал о тронувших его наших сборах, и он это заметил, – он окинул своими желтыми глазами комнату и остановил их на постороннем человеке.

– Кто этот господин? – спросил он тихо.

Ротмистр ему отвечал еще тише и сейчас же в коротких словах передал нашу смутительную историю.

– Какая гадость! – воскликнул полковник. – И чем же это кончено, или до сих пор еще не кончено?

– Мы все заставили его нас обыскать, и к вашему приходу остался необысканным только один корнет N.

– Так кончайте это! – сказал полковник и сел на стул посреди комнаты.

– Корнет N, ваша очередь раздеться, – позвал ротмистр.

Саша стоял у окна со сложенными на груди руками и ничего не отвечал, но и не трогался с места.

– Что же вы, корнет, – разве не слышите? – позвал полковник.

Саша двинулся с места и ответил:

– Господин полковник и все вы, господа офицеры, – клянусь моею честью, что я денег не крал...

– Фуй, фуй! к чему такая ваша клятва! – отвечал полковник, – все вы здесь выше всяких

подозрений, но если товарищи ваши постановили сделать, как они все сделали, то то же самое должны сделать и вы. Пусть этот господин вас обыщет при всех – и затем начнется другое дело.

– Я этого не могу.

– Как?.. чего не можете?

– Я денег не крал, и у меня их нет, но я обыскать себя не позволю!

Послышался недовольный шепот, говор и движение.

– Что это? Это глупо... Почему же мы все позволили себя обыскать?..

– Я не могу.

– Но вы должны это сделать! Вы должны, наконец, понять, что ваше упрямство усиливает унижительное для всех нас подозрение... Вам должна, наконец, быть дорога если не ваша честь, то честь всех ваших товарищей – честь полка и мундира!.. Мы все от вас требуем, чтобы вы сейчас, сию минуту разделись и дали себя обыскать... И как поведение ваше уже усилило подозрение, то мы рады случаю, что вы можете быть обысканы при полковнике... Извольте раздеваться...

– Господа! – продолжал бледный, покрывшийся холодным потом юноша, – я денег не брал... Я вам клянусь в том отцом и матерью, которых люблю больше всего на свете. И на мне денег этого господина нет, но я сейчас вышибу эту раму и брошусь на улицу, но не разденусь ни ради чего на свете. Этого требует *честь*.

– Какая честь! что за честь может быть выше чести общества... чести полка и мундира... Чья это честь?

– Я вам не скажу больше ни слова, но я не разденусь, и у меня в кармане есть пистолет – я предупреждаю, что выстрелю во всякого, кто захочет меня тронуть силою.

Юноша, говоря это, то бледнел, то горел весь как в огне, задыхался и блуждающим взором глядел на дверь с томящим желанием вырваться, меж тем как в руке его, опущенной в карман рейтуз, щелкнул взведенный пальцем курок.

Словом, Саша был вне себя, и этим экстазом он остановил весь поток направленных к нему убеждений и всех заставил задуматься.

Поляк первый обнаружил к нему самое



большее и даже трогательное участие. Забывая свое уединенное и вполне невыгодное, нерасполагающее положение, он с выражением какого-то заразительного ужаса закричал:

– Проклятье! проклятье этому дню и этим деньгам! Я не хочу, я не ищущу их, я о них не жалею, я никому никогда ни одного слова не скажу об их пропаже, но только ради создавшего вас Саваофа, ради страдавшего за правду и милость Христа, ради всего, что кому-нибудь из вас жалко и дорого, – отпустите этого *младенца* ...

Он сказал именно «младенца» вместо юноши, и вдруг совершенно иным, как будто из каких-то глубоких недр души исходящим голосом добавил:

– Не ускоряйте рока... Разве вы не видите, куда идет он...

А он, то есть Саша, действительно в это время шел или, лучше сказать, пробирался мимо офицеров к двери.

Полковник следил за ним желтыми белками своих глаз и проговорил:

– Пусть уходит...

И потом он еще тише добавил:

– Я, кажется, что-то понимаю.

Саша достиг порога, остановился и, оборотясь ко всем лицом, сказал:

– Господа! я знаю, как я оскорбил вас и как дурен должен быть в глазах всякого мой поступок. Простите!.. я иначе поступить не мог... Это моя тайна... Простите!.. Это честь...

Голос его заволновался – точно в нем задрожали чистые детские слезы, и он застыдил их – захотел их скрыть, – он закрыл ладонью глаза, крикнул: «прощайте!» и убежал.

## Глава восьмая

Очень трудно излагать такие происшествия перед спокойными слушателями, когда и сам уже не волнуешься пережитыми впечатлениями. Теперь, когда надо рассказать то, до чего дошло дело, то я чувствую, что это решительно невозможно передать в той живости и, так сказать, в той компактности, быстроте и каком-то натиске событий, которые друг друга гнали, толкали, мостились одно на другое, и все это для того, чтобы глянуть с какой-то роковой высоты на человеческое мало-

умие и снова разлиться где-то в природе.

Если вы читали, что писал Жаколио или пишет о загадочных вещах наша соотечественница Рада-Бай, то вы, может быть, прислушались к тому, что она повествует о «психической силе» у индусов и о зависимости этой силы от «умственного настроения». Психическая сила, может быть, есть и в том франте, который проходит по тротуару, помахивая тросточкой и насвистывая из Орфея: – «И в-о-т м-ы шли, – и в-о-т м-ы шли». Но подите-ка докопайтесь в нем, где у него завалена эта сила, да и к чему ее приложить можно. Екклезиаст прекрасно представляет это в примере тени, падающей от дерева по направлению получаемого освещения... В общей суматохе все метутся и принимают за важнейшее то, что вовсе не важно, а один иначе настроенный взгляд видит и замечает настоящее и самое главное в эту минуту – и вот вам «психическая сила».

Во мне как будто сверкнул какой-то маленький ее клочок, когда выбежал Саша. Что-то было страшное в его движении и в обороте, – в быстром скачке не скачке, а в каком-то

отдалении, – словно он оторвался и унесся бесследно... Даже шагов его не было слышно по коридору, а только что-то прошумело... Поляк сразу же бросился вслед за ним... Мы думали, что он хочет его настичь и обличить в краже, так как Саша, если помните, имел роковое несчастье заходить еще ранее ошибкою в его комнату и, стало быть, становился еще подозрительнее по отношению к пропавшим деньгам (а мы все уже волею-неволею верили в то, что деньги были и пропали). Несколько человек сделали быстрое движение, чтобы преградить Августу Матвейчу путь к двери, а полковник крикнул ему:

– Остановитесь, милостивый государь, ваши деньги будут вам заплачены!

Но поляк с удивительною силою отбросил офицеров, а полковнику крикнул в ответ:

– Пусть черт возьмет деньги! – и выбежал вслед за Сашей.

Тут только все мы вспомнили свой непростительный промах, что, дозволяя обыскивать самих себя, мы не потребовали того же самого от причинившего нам все это беспокорство поляка, и кинулись за ним, чтобы

схватить его и не дать ему возможности спрятать деньги и потом взвести на нас унижительную клевету; но в это самое мгновение, которое шло быстрее и кратче, чем идет мой рассказ, в некотором отдалении из коридора слышался как будто удар в ладоши...

Нас прожгла мысль, что поляк оскорбил Сашу ударом в лицо, и мы кинулись на помощь к товарищу, но... помощь ему была бесполезна...

В дверях перед нами стояла, колеблясь, длинная часовая фигура Августа Матвеича с грагамовским циферблатом, на котором все стрелки упали книзу...

– Поздно, – прохрипел он, – *он застрелился*

.

## Глава девятая

**М**ы бросились толпою в маленький номерок, который занимал Саша, и увидели поражающую картину: посреди комнаты, освещенной одною догоравшею свечкой, стоял бледный, испуганный денщик Саши и держал его в своих объятиях, меж тем как голова Саши лежала у него на плече. Руки его повисли, как плети, но согнувшиеся в коленях ноги еще делали такие судорожные движения, как будто его щекотали и он смеялся.

История о деньгах, которая довела до всего этого или по крайней мере подоспела к тому, чтобы подтвердить причинность появления «гиппократов черт» на юном лице бедного Саши, была позабыта... Опасение скандала тоже отодвинулось бог весть куда – все забегали, засуетились, укладывали раненого на постель, требовали докторов и хотели помочь ему, бывшему уже вне всяких средств для помощи... Старались унять кровь, в изобилии стремившуюся из раны, нанесенной большою пулею в самое сердце, звали его по имени и кричали ему на ухо: «Саша! Саша! милый Са-

ша!..» Но он, очевидно, ничего не слышал – он гас, холодел и через минуту вытянулся на кровати, как карандаш.

Многие плакали, а денщик рыдал навзрыд... Из толпы к трупам протеснился коридорный Марко и, верный своему набожному настроению, сказал тихо:

– Господа, это нехорошо над отходящей душой плакать. Лучше молитесь, – и с этим он раздвинул нас и поставил на стол глубокую тарелку с чистою водою.

– Это что? – спросили мы Марко.

– Вода, – отвечал он.

– Зачем она?

– Чтобы омылась и окунулась его душа.

И Марко поправил самоубийцу навзничь и стал заводить ему глазные веки...

Мы все крестились и плакали, а денщик упал на колена и бил лбом о пол так, что это было слышно.

Прибежали два доктора—наш полковой и полицейский, и оба, как нынче по-русски говорят, «констатировали факт смерти»...

Саша умер.

За что? за кого он убил себя? Где деньги,

кто вор, который украл их? Что будет дальше с этой историей, которая разлетелась, как выпущенная на ветер пуховая подушка, и ко всем к нам липла?

Все это мешалось, и головы шли кругом, но мертвое тело умеет отвлечь все внимание и заставить прежде всего заботиться о себе.

В номере Саши появились полицейские и лекаря с фельдшерами и стали писать протокол. Мы оказались лишними, и нас попросили удалиться. Его раздевали и осматривали его вещи при одних понятых, в числе которых был коридорный Марко и наш полковой доктор, да один офицер в виде депутата. Денег, разумеется, не нашли.

Под столом оказался пистолет, а на столе листок бумаги, на котором наскоро, торопливым почерком Саша написал: «Папа и мама, простите – я невинен».

Для того, чтобы написать это, требовалось, разумеется, две секунды.

Денщик, который был свидетелем смерти Саши, говорил, что покойный вбежал, – не сядя к столу, стоя написал эту строчку и сейчас же, стоя, выстрелил себе в грудь и упал



ему на руки.

Солдат много раз передавал этот рассказ в неизменной редакции всем, кто его расспрашивал, и потом стоял молча, моргая глазами; но когда подошел к нему Август Матвейч и, взглянув ему в глаза, хотел его расспрашивать более подробно, денщик отвернулся от него и сказал ротмистру:

– Дозвольте, ваше высокоблагородие, мне выйти обмыться, на моих руках кровь христианская.

Ему разрешили выйти, потому что он в самом деле был сильно залит кровью – что являло вид тяжелый и ужасный.

Все это происходило еще на рассвете, и заря уже чуть алела – свет уже чуть пробивался в окна.

В номерах, занятых офицерами, все двери в коридор были открыты, и везде еще горели свечи. В двух-трех комнатках сидели, спустя руки и головы, офицеры. Все они были похожи теперь более на мумий, чем на живых людей. Пьяный чад унесся, как туман, не оставив и следа... На всех лицах выражалось отчаянье и горе...

Бедный Саша, – если бы дух его мог интересоваться земным, – конечно, должен бы найти утешение в том, как все его любили и как всем больно было пережить, его столь молодого, столь цветущего и полного жизнью!

А на нем тяготело подозрение... ужасное, гнусное подозрение... Но кто бы посмел напомнить теперь об этом подозрении усачам, по опустившимся лицам которых струились слезы...

– Саша! Саша! бедный, юный Саша! что ты с собой сделал? – шептали уста, и вдруг сердце останавливалось, и пред всяким из нас вставал вопрос: «И ты тоже не виноват ли в этом? Разве ты не видел, *какой он был?* Разве ты остановил других, чтобы к нему не приставали? Разве ты сказал, что ты ему веришь, что ты уважаешь неприкосновенность его тайны?» Саша! бедный Саша! И что это за тайна, которую унес он с собою в тот мир, куда он предстал теперь с явной разгадкой погубившей его тайны... О, он чист, конечно, он чист от этого гнусного подозрения, и... проклятие тому, кто довел его до этого поступка!

А кто довел?

## Глава десятая

Комната Августа Матвейича была отворена в коридор точно так же, как и все офицерские комнаты, но в ней не было зажженной свечи, и при слабом рассвете там едва можно было отличить щегольской чемодан и другие дорожные вещи. В углу комнаты стояла слегка смятая постель.

Проходя мимо этой комнаты, непременно хотелось остановиться и поглядеть издали: что в ней такое? Откуда и за что на нас нанесло такую напасть?

Меня лично тянуло зайти сюда и поискать, нет ли пропавших денег здесь – не засунул ли их куда-нибудь сам пострадавший и потом позабыл и развел всю эту историю, стоившую нам столько тревог и потери прекрасного, молодого товарища. Я даже склонен был исполнить это, я хотел вскочить в номер поляка и поискать и с этим приблизился к двери, но, по счастью, неосторожное легкомыслие мое было остановлено неожиданным предупреждением.

Из конца коридора, с той стороны, где был

просторный ротмистерский номер, в котором ночью шла игра и попойка, слышалось несколько голосов:

– Куда? Куда?.. Еще этой глупости не доставало!

Я сконфузился и оробел. Мне вдруг ясно представилась моя опрометчивость и опасность, которой я подвергал себя быть заподозренным в особенной близости к этому делу. Я перекрестился и ускоренным шагом пошел в тот угол, откуда донеслись ко мне предостерегающие меня голоса.

Здесь, у полутемного еще окна, выходявшего на север, на грязном войлоке, покрывавшем грязный же коник, служивший постелью ротмистерского денщика, сидели три наши офицера и наш полковой батюшка с заплетенной косою и широчайшею русою бородою, за которую мы его звали «отец Барбаросса». Он был очень добрый человек, принимавший участие во всех полковых интересах, но все выражавший всегда без слов, одним лишь многозначительным качанием головы и повторением короткой частицы «да». Говорил он только в случае крайней необходимости и

тогда отличался находчивостью.

Три офицера и батюшка курили вместе из двух трубок, затягиваясь поочередно и затем передавая их для потребы ближнего. Батюшка помещался посередине группы, и потому трубки шли через него и справа и слева – отчего он получал двойную против всех долю наслаждения и притом еще увеличивал его тем, что после всякой сильной затяжки закрывал себе все лицо своею бородою и выпускал из себя дым с большою медлительностию сквозь этот удивительный респиратор.

Коник, на котором сидели эти добрые люди, приходился вблизи ротмистерских дверей, которые теперь были заперты на ключ, и за ними шла оживленная, но очень сдержанная беседа. Слышен был говор и перемежавшиеся реплики, но нельзя было разобрать ни одного слова.

Там, запершись на ключ, находились теперь наш полковой командир, наш ротмистр и виновник всех наших сегодняшних бед, Август Матвеич. Они вошли в эту комнату по приглашению полковника, и о чем они там хотели говорить – никому не было известно.

Три офицера и батюшка заняли ближайшую к комнате позицию сами – по собственному побуждению и по собственной предусмотрительности, из опасения, чтобы не оставить своих беспомощными в случае, если объяснения примут острый характер.

Опасения эти были, однако, напрасны: разговор, как я уже сказал, шел в приличном тоне, который все более смягчался, и, наконец, даже слышались ноты дружественности и задушевности, – вслед за тем раздалось движение стульев и шаги двух человек, приближавшихся к двери.

Повернулся ключ, и в открытых дверях показались наш командир и Август Матвейч.

Выражение их лиц было если не спокойное, то вполне мирное и даже дружественное.

Полковник пожал на пороге руку поляка и сказал:

– Очень рад, что могу питать к вам те чувства, которые вы сумели внушить мне при таких ужасных обстоятельствах. Прошу верить моей искренности, так же как я верю вашей.

Поляк с достоинством ответил ему поклоном и молча направился в свою комнату, а

полковник обратился к нам и сказал:

– Я спешу домой. Прошу вас всех войти к ротмистру и от него узнать – чего мы все должны держаться.

С этим полковник кивнул нам головою и пошел к выходу, а мы все, сколько нас было, наполнили номер ротмистра прежде, чем внизу прогремел блок выходной двери, затворившейся за нашим командиром.

## Глава одиннадцатая

Наш ротмистр был прекрасный человек, но нервяк, вспыльчивый и горячка. Он был находчив и умен, но не отличался умением владеть собою и дар красноречия имел чисто военный – он более внушал, чем излагал и рассказывал.

Таков же точно он был и в эту минуту, когда мы его застали срывающим с себя галстук и мечущим на всех сердитые взгляды.

– Что?.. хорошо случилось? – обратился он к батюшке.

Тот отвечал: «да, да, да», и покачал головою.

– То-то и есть – «да, да, да». Добрые занятия

довели и до добрых последствий.

Батюшка опять протянул: «да, да, да».

– А ведь это ваше бы дело...

– Что такое?

– Внушить нашему брату совсем другое настроение...

– Да.

– А вы никакого влияния не имеете.

– Говори пустяки.

– Нечего «пустяки». Чего вы теперь явились? – теперь надо дьячка псалтырь читать, и ничего более.

– Да в чем дело-то... что делать-то далее? – стали приступать наши. – Полковник ушел – вы пылите и батьку распекаете... Разве мы, в самом деле, его внушений, что ли, стали бы слушать... А где теперь поляк? Черт знает, были ли у него деньги, – что он один теперь у себя в комнате делает? Говорите, пожалуйста, – что решено? Кто же обидчик, кто злодей?

– Черт злодей, черт! Другого никого нет, – отвечал ротмистр.

– Но сам этот пан...

– Этот пан вне всяких подозрений.

– Кто это вам открыл?



– Мы сами, господа, мы сами: я и ваш полковой командир сами за него ручаемся. Мы не говорим вам, что он честнейший человек, но мы ясно видим, что он говорит правду – что деньги у него были и пропали. Их могли взять только черт... А что они были – это доказывается тем, что командир, желая избежать скандальной огласки, здесь при мне предложил ему сегодня же получить от него сполна все двенадцать тысяч, лишь бы не было дела и разговоров, – и он отказался...

– Отказался...

– Да; и *мало того*, что отказался, но он сам вызвался никому не жаловаться на пропажу и ни перед кем не упоминать об этом проклятом происшествии. Словом, он вел себя так честно, благородно и деликатно, как только можно пожелать.

– Да, да, да! – протянул батюшка.

– Да; и мы с полковником дали ему слово, что и мы и вы будем питать к нему полную доверенность и станем считать себя все его должниками в течение года, – и если, по истечении года, ничто не разъяснится и деньги не отыщутся, тогда мы платим ему двенадцать

тысяч, а он их тогда дал согласие взять...

– Разумеется, мы это принимаем и будем перед ним исправны в нашем долге, – подхватили офицеры.

– Но, господа, – продолжал ротмистр, понизив голос, – он уверен, что мы и не будем платить, – он почему-то утверждает, что *эти деньги найдутся*. Он говорит об этом так твердо и с такою уверенностью, что если только верно, что вера может переставлять горы, – то его уверенность должна сбыться... Да, да – она должна сбыться, ибо это цена крови... Он передал, просто сказать, он перелил эту веру в нас с полковником, и хотя он просил нас, чтобы мы его обыскали, но и я и полковник от этого отказались... Вам предоставляю сделать, что вам угодно, – он пошел в свой номер и будет ждать вас там без выхода, чтобы вы его обыскали. Можете. Но условие у нас одно: мертвое молчание об этом перед всеми. На это я требую от вас честное слово.

Мы дали честное слово и номер Августа Матвейча обыскивать не пошли, а только зашли к нему наскоро пожать его руку.

## Глава двенадцатая

А тем не менее во всех осталось полное тяжелое недоумение и скорбь о человеке, а там над бедным Сашей производилось вскрытие; написан фальшивый по существу акт о том, что он «лишил себя жизни в припадке умопомешательства»; батюшка отпел панихиду, и дьячок тянет монотонно Псалтырь: «Им же образом желает елень на источники водные, сице желает душа моя ко Богу крепкому, Богу благодеявшему мне».

Томленье духа. Ходишь, ходишь, куришь до бесчувствия и уйдешь и заплачешь. Какая юность, какая свежесть угасла!.. Вот именно «вкусил мало меду и умер».

Все мы, боевые или по крайней мере предназначенные к боям люди, раскисли и размякли. Поляк тоже не хотел уезжать – он хотел проводить с нами Сашу в могилу и видеть его отца, за которым рано утром послали и ждали его в город к вечеру.

Если бы не коридорный Марко, то мы бы забыли время есть и пить, но он бдел над нами и много делал и для покойника. Он его об-

мывал, одевал и рассказывал, что надо купить и где поставить, да и нас уговаривал успокоиться.

– На все воля Господня! – говорил он, – мы все как трава.

И сейчас же опять бежал по другим делам. Другие слуги под каким-то предлогом были арестованы, и в вещах их был сделан обыск. Денщика покойного Саши тоже обыскали и даже допросили: не передал ли ему чего-нибудь перед своею смертью самоубийца.

Солдат, казалось, не сразу понял этот вопрос, но потом отвечал:

– Его благородие никаких денег мне не передавал.

– Ты помнишь, что тебе может быть за утайку?

– Как же-с, помню.

Разумеется, все это спрашивали не мы, а следственные власти, которым нельзя увлекаться щекотливостью.

Денщика отпустили, и он тотчас же ушел и стал чистить запасные Сашины сапоги.

## Глава тринадцатая

Вечером приехал отец. Он был очень милый и видный и совсем еще не старый – не более лет пятидесяти двух или трех. Манера держаться у него была военная, и он был в отставном военном сюртуке, со шпорами, но без усов. Мы его никогда ранее не видали и потому не заметили, как он вошел в комнату сына, а узнали его уже тогда, когда он оттуда вышел.

Он с приезда спросил денщика, и тот повел его и оставался с ним один на один, с глазу на глаз при покойнике около двух-трех минут. И после этого короткого времени отец вышел к нам в зал, имея вид, поразивший нас своим тихим величием.

– Господа! я представляюсь вам, – начал он, кланяясь, – я отец вашего несчастного товарища! Мой сын умер, он убил себя... он осиротил меня и свою мать... но *он не мог поступить, господа, иначе ...* Он умер как честный и благородный молодой человек, и... и... это то, в чем я уверяю вас и... в чем я сам буду искать себе утешения...

С этими словами сразу обаявший нас старик упал на стул к круглому столу и, закрыв лицо руками, звонко заплакал, как ребенок.

Я поспешил подать ему дрожащею рукою стакан воды.

Он принял ее, проглотил два глотка и, ласково сжав мою руку, молвил:

– Благодарю вас всех, господа.

А потом обмахнулся платком и сказал:

– Не то еще... Я что такое? Но жена, жена как узнает!.. Материнское сердце не вынесет.

И он опять утерся платком и поехал «представиться полковнику».

Полковнику он сказал тоже, что Саша «умер как должно честному и благородному молодому человеку» и что «иначе он поступить не мог».

Полковник глядел на него в упор долго, кушая, по своему обычаю, маленький леденец, и потом сказал:

– Вы знаете, что этому предшествовало одно несчастное обстоятельство... Мы с вами ведь в свойстве, и потому я вам могу и должен сказать все. Я ничему не верю, но поведение корнета было-таки странно...

– О, оно было совершенно необходимо, полковник...

– Я верю, но если бы вы могли приподнять перед моими глазами хоть уголок завесы, закрывающей эту тайну...

– Не могу, полковник.

Полковник пожал плечами.

– Что делать, – сказал он, – пусть все так остается.

– Кроме одного, полковник. Деньги княжескому управителю полк платить не будет, потому что их плачу я. Это мое грустное право.

– Не смею спорить.

И отец Саши действительно в тот же самый день с глазу на глаз подал Августу Матвеичу двенадцать тысяч.

Поляк взял пачку и, сказав: «никогда!» – положил ее снова в карман старика, и они сели друг против друга и оба стали плакать.

– Великий боже! великий боже! – восклицал старик, – все это такое честное, такое благородное – и между тем есть же злодей, который здесь что-то сделал.

– И он найдется.

– Да; но сын мой не воскреснет.

## Глава четырнадцатая

**А** в чем же была тайна?  
Чтобы рассказ стал, наконец, понятным, – надо нескромно раскрыть ее.

На груди Саши был акварельный портрет его милой розовой кузины Ани, которая была теперь его полковницей и дала жизнь новому человеческому существу в то самое мгновение, когда Саша самовольно разрешил себя от жизни.

Этот портрет был залог не столько страстной любви, как светлой детской дружбы и целомудренных обетов; но когда розовая Аня сделалась женой полковника и тот стал ревновать ее к кузену, – Саша почувствовал себя в томленьях Дон-Карлоса. Он довел эти муки до помрачающих терзаний и... в эту-то пору подвернулся случай с деньгами и с обыском, к которому, как на грех, подошел полковник.

Саша не выдал тайны кузины.

Держа уже пистолет у груди, он подал этот портрет денщику и сказал:

– Богом заклинаю – отдай отцу.

Тот и отдал его через гроб покойного.



Отец сказал, что его сын «умер, как должно честному и благородному молодому человеку».

Портретик был чистый, невинный, даже мало схожий с тою, кого изображал он, с дробною надписью: «Милому Саше его верная Аня».

И ничего более...

Это теперь смешно – пожалуй, даже глупо! Да, да; быть может, все это так. «Что ни время – то и птицы, что ни птицы – то и песни». Я вам никого не аттестую и ничего не критикую, но только я насчет *интересности*, как ее женщины чувствуют.

Что это такое был корнет Саша? Так себе, ничего или очень мало, – розовый мальчик, дворянчик, белогубый выкормочек в мундире. Ничего у него, никаких пленительных даров, кроме дара молодости и... *безоглядного чувства личной чести женщины* ... И вот подите-ка, что вы скажете: было ли тут перед чем пасть и преклониться? А я вам расскажу, как пали и преклонялись.

Истории той тайны, которую я вам сейчас по необходимости рассказал, в городе тогда

никто никому рассказать не мог, потому что о ней только кое-что знал денщик, а вполне понимал ее один отец самоубийцы. Кроме того, явилось еще обстоятельство, которое не только могло, но и непременно должно было все это спутать, благодаря ошибке Марко, который видел и, крестясь, рассказал многим по секрету, как денщик покойного передал что-то тайно из рук в руки его отцу. Что это могло быть такое, что один из них передал, а другой взял и спрятал с такою тайнностью?.. Бог знает. Марко крестился и говорил:

– Не хочу брать на свою душу греха, – не мог рассмотреть, что именно такое, а только видел, что какой-то пакетец в бумажке передан.

Не это ли были деньги? Почему бы так не думать при тех смутных обстоятельствах, которые я вам описываю и которые, как всякое подозрение, становились час от часу бестолковее и способнее распространять на все свою деморализующую подозрительность... Не всякий ли, имеющий руки, имеет и средства взять ими? Открыть вора – вот в чем первая задача; не упустить малейшего подозре-

тельного признака – вот в чем обязанность каждого...

Да, каждого, кто думает, что желчные глаза подозрительности видят лучше, чем светлое око растроганного сердца; но, к счастью рода человеческого, ему доступны бывают и великие душевные откровения, когда люди как бы осязают невидимую правду и, ничем не сдерживаемые, стихийно стремятся почитать скорбью несчастье. Это своего рода священные бури, ниспосылаемые для того, чтобы разогнать сгустившийся удушливый туман, – в них есть «дыханье свыше», в них есть откровенье, которому ясно все, что закрыто сплетеньем.

Марко даже не давали воли говорить о том, что он видел... Все знали, что такое денщик передал отцу бедного Саши: *это был женский портрет ...* В этом ни на одно мгновение не хотела усомниться ни одна человеческая душа – об этом говорил свет, глядевший в окно, где совершилась с глазу на глаз таинственная передача; этим дышал воздух, об этом разливался песнью жаворонок...

Похороны Саши были не торжественны и

даже не трогательны, а они были ужасны. Все вы, господа, видали торжественные погребения с тем, что называют «помпою»... Я не говорю о похоронах с парадом, которыми, по моему мнению, выражается только одна жалкая суэта человеческая. Вспомните похороны Гоголя, о которых мы читали такие прекрасные описания, похороны Некрасова и Достоевского, которые называли «событием в истории». Все это, конечно, имеет значение и, быть может, не лишено искренности, но только искренность-то тут слишком загромождена чем-то ей посторонним. Я видел, как в Москве хоронили Скобелева... Тут больше чем где-нибудь прорывалось того, что отдает настоящей скорбью, но – смейтесь надо мною, если вам угодно, а я, стоя там, вспоминал и сравнивал тот значительно оригинальный день моей молодости, когда мы хоронили Сашу... Какое сравнение! Тоже и ему, как офицеру, мы устроили по уставу «церемонию», но ее никто не видел и не замечал, хотя она и занимала самое видное место. То, что сделала в честь его истинная скорбь людей, устремившихся отовсюду, чтобы рыдать и терзаться

при виде его молодого мертвенно бледного лица, подавило все и, кажется, самый воздух пропитало трепетом.

## Глава пятнадцатая

Никого не собирали на эти похороны, кроме эскадрона, в котором служил покойник, но люди во множестве сами пришли отовсюду. Вдоль всего пути от гостиницы вплоть до кладбищенской церкви стали люди разного положения. Женщин больше, чем мужчин. Им никто не внушал, о чем надо жалеть, но они сами знали, что надо оплакать, и плакали о погибшей молодой жизни, которая сама оборвала себя «за благородность». Да-с, я вам употребляю то слово, какое все говорили друг другу.

– За благородство свое, голубчик, помер!

– Себя не пожалел для милого сердца! Стоит этакая подгородной слободы баба-тетеха и причитает:

– Соколик ты ясный... жизньюшку свою положил за благородность...

И, куда ни повернитесь, все в том же роде что-то тепло, тепло и фамильярно лепечут.

Непременно на «ты» и чтоб поласковой – будто до сердца обнимает.

– Крошка ты милый!.. молодой, благородный!..

– Ангел ты мой чувствительный!.. Как тебя не любить было!

И всё так... Дворянки, купчихи, поповны, мещанки, горничные и хоровые цыганки – и особенно эти последние, как профессорины и жрицы трагического стиля в любви, – все лепечут дрожащими устами теплые словца и плачут о нем, как о лучшем друге, как о собственном возлюбленном, которого будто последний раз держат и ластят у сердца.

А всё ведь это женщины не ахти какие, и они Сашу совсем и не знали, может быть ни разу не видали и, пожалуй, может быть даже совсем ни за что и не полюбили бы его, когда бы знали его со всем, что в нем было хорошего и дурного. А вот тут, когда он «за благородство» да за «милое сердце», – тут уж нет ни минуты, чтобы рассуждать и отрезвлять себя каким-нибудь рассуждением, а надо причитать и плакать... Вон из тела душа просится...

Иннокентий однажды так всех тронул: вы-

шел да вместо ораторства говорит: «Он в гробе – давайте плакать», вот и все, – и слезы льются и льются из глаз. Это была какая-то общая трясовица сердец. Женщины вглядывались в проносимое мимо лицо Саши (там носят покойников в открытом гробе), и все находили его очень обыденное личико самым величественным и прелестным... Так, говорят, и написано: «верность до гроба!»

Что за дело, что, может быть, не совсем то было написано? Они читали то, что видели их глаза, – и этого довольно.

*Тьмы низких истин нам дороже  
Нас возвышающий обман.*

Губы нервно дрожат, и лица мокры от слез; все нежны, все с ним говорят:

– Усни, усни, мой страдальчик!

В церкви иное настроение, еще острее. Ораторское искусство и не дерзает ни на минуту испортить тот священный строй, к которому все выше и выше возводит сердца песнотворческий гений Дамаскина. Его поэтический вопль и жжет и заживляет рану.

*Иду в неизвестный я путь,*

*Иду меж страха и надежды;  
Мой взор угас, остыла грудь,  
Не внемлет слух, сомкнуты веж-  
ды;  
Лежу безгласен, недвижим,  
Не слышу вашего рыданья  
И от кадила синий дым  
Не мне струит благоуханье.  
Но, вечным сном пока я сплю,  
Моя любовь не умирает,  
И ею всех я вас молю,  
Пусть каждый за меня взывает:  
Господь! В тот день, когда труба  
Вострубит мира преставленья, —  
Прими усопшего раба  
В твои блаженные селенья.*

И уж я вам, милостивые государи, доложу, что уж действительно... припадали с этим к господу-то!.. Да ведь с слезами-с, с каким плачем-с!.. Как велик грех Саши-розана по богословской науке – в этом оплакивавшие его были не знатоки, но уж умоляли «принять его в блаженные селенья» так неотступно, что я, право, не знаю, как тут согласить этот душевный вопль с точными положениями оной науки... Я бы в этом запутался.



Нынче многие укоряют наших, что они очень плохие ораторы. Не напрасно ли? Правда, что ораторы – плохие, да ведь не везде хорошо говорить, где принято. Есть случаи, где просто лучше плакать, где вопли «прими» и «прости» пристойней рацей, которые иной как пойдет разводить, так и договорится до чего-нибудь такого, чтт либо оскорбляет разум, либо оскорбляет чувство. Вспомните шиллеровского великого инквизитора. Зато я и люблю погребение по восточному чину. Приходят и уходят как-то... точно на зов пророка Исаии: «Приидите и стяжемся»... Но где тут стяжаться? Кто победит – ясно. А ты вот все можешь, ты призвал, ты изменил зрак и положил «красоту», как «неимущую вида» – так ты же «забудь», «прости» и «презри» все, чем он не оправдал себя перед тобою ...

*Все пепел, призрак, тень и дым,  
Исчезнет все, как вихорь пыльный,  
Исчезнет все, что было плоть,  
Величье наше будет тленье, —  
Прими усопшего, Господь,  
В твои блаженные селенья.*

Снова всё опять к тому же и к тому: «прости!»

Вспомнишь притчу о вельможе, который «никого не боялся и ничего не стыдился», а между тем когда и к такому усердно пристали, то и он сказал наконец: «сделаю», – и успокоишься.

Он ли, который сам создал ухо, чтобы все слышать, он ли задремлет, он ли уснет, он ли не сделает, что просит голос стольких растроганных душ...

Пусть даже и «вере могила темна», но уж пристойнее и трогательнее обходиться с этим, как придумали обходиться восточные христиане, кажется, невозможно. Со вкусом поэт был Дамаскин!

Еще случай тут вышел на Сашиных похоронах со вдовою одного бывшего вельможи. Это была дама родовитая, умная, очень воспитанная, а называлась она «змеею». Кличка эта была глупая, змеей эту даму звали не за зло, которого она решительно никому не делала, а за презрительность, про которую говорили много. Она будто не любила ничего своего, русского – ни языка, ни веры, ни обычая, а все

презирала, и презирала не с легкомыслием, не с фатовской замашкой, которые легче простить, – а прочно, глубоко и искренно, с каким-то сознанием. Она ничего не порицала и не отвергала, а считала все русское даже не заслуживающим внимания... Она даже удивлялась, что географы на ландкартах Россию обозначают... Такие дамы тогда были. А и эта, услышав, что все плачут по каком-то офицере, который «застрелился за благородство», – велела открыть двойную дверь на своем балконе, мимо которого несли Сашу, и вышла с лорнетом. Я ее помню: высокая, в гранатовой шубке на собольем меху, стоит и смотрит в лорнет.

А юный наш Саша, с открытым лицом, словно оторванная ветка плывет перед нею по людным волнам.

«Змея» подавила вздох и сказала стоявшей с ней англичанке:

– Юность безумна везде – безумие же иногда схоже с героизмом, а героизм нравится массе.

Англичанка отвечала:

– O yes![21] – и при этом прибавила, что ее

интересует замечаемое дружное, всеобщее чувство. «Змея» из деликатности к желанию чужестранки согласилась пойти в церковь, где надо всем поставит последнюю точку молоток гробовщика по гробовой крышке.

## Глава шестнадцатая

Против всяких законов архитектоники и Экономии в постройке рассказа я при конце его ввел это новое лицо и должен еще сказать вам об этой даме, чтобы вы знали – до чего она была язвительна. Когда супруг ее был на земле, они однажды принимали у себя такое лицо, перед которым хозяин хотел показаться в блеске своего значения, а она презирала мужа, как и всех, или, может быть, немножко более. Муж это знал и запросил у нее прощенья. Только одного просил: «Не опровергайте меня». Она посмотрела на него и согласилась.

– Я даже готова вас поддержать.

Муж ей поклонился на этом. Высокий гость был доброго нрава и иногда любил говорить запросто. Так и в этот раз он пожелал слушать администратора за чаем, который

кушал, получая чашку прямо из рук хозяйки. Хозяин и пошел ему читать, как он все видел, все знал, все предохранял, предупреждал и устраивал общее благо... Говорил он, говорил и, наконец, ошибся и что-то правду сказал. А «змея» сейчас его здесь и поддержала, и прошипела:

– Voilà ça c'est vrai.[22]

Ничего больше – только и сказала, а гость не выдержал, потушился и рассмеялся, у нее поцеловал руку, а супругу ее сказал:

– Ну, хорошо, хорошо, довольно: я буду верить, что tout за est vrai[23]

Так она его с этим и похоронила, и с той поры жила здесь с одною своею англичанкою и читала иностранные книги.

На людях ее никогда не видали, и потому теперь, когда она с своею англичанкою показалась в церкви, где отпевали Сашу, – на нее все взглянули, и всякий потеснился, и им двум нашлось место. Даже толпа будто сама их придвинула вперед, чтобы посмотреть на них. Но высшим велением угодно было, чтобы ничто постороннее не отвлекало общего внимания от того, что ближе касалось бедно-

го Саши.

В то самое мгновение, как две важного вида дамы подвигались вперед, на пороге дверей еще появилась одна женщина – скромная, в черной шелковой шубке: одежда ее как пеплом посыпана дорожным сором, лицо ее – воплощение горя...

Ее никто не знал, но все узнали, и в толпе пронеслось слово:

– Мать!

Все ей дали широкий путь к драгоценному для нее гробу.

Она шла посреди раздвинувшейся толпы – скоро, протянув вперед перед собой обе руки, и, донесясь к гробу, – обняла его и замерла...

И пало и замерло с нею все... Все преклонили колена, и в то же время все было до того тихо, что когда «мать» сама поднялась и перекрестила мертвого сына, – мы все слышали ее шепот:

– Спи, бедный мальчик... ты умер честно.

Ее уста произнесли эти слова тихим, едва заметным движением, а отозвались они во всех сердцах, точно мы все были ее дети.

Молоток гробовщика простучал, гроб по-

несли к выходу; отец вел под локоть эту печальную мать, а глаза ее тихо смотрели куда-то вверх... Она верно знала, где искать сил для такого горя, и не замечала, как к ней толпились со всех сторон молодые женщины и девушки и все целовали ее руки, как у святой...

От могилы к воротам кладбища снова тот же натиск и то же движение.

У самых ворот, где стоял экипаж, «мать» как бы что-то поняла из окружающего: она обернулась и хотела сказать «благодарю», но пошатнулась на ногах. Ее поддержала стоявшая возле «змея» и... поцеловала ее руку.

Так всех растрогал и расположил к себе наш бедный Саша, так был оценен всеми простой и, может быть, необдуманый порыв его – «не выдать женщину».

Никто не останавливался над тем, что это за женщина и стоила ли она такого жертвоприношения. Все равно! И что это была за любовь – на чем она зиждилась? Все началось точно с детской, точно «в мужа с женою играли», – потом расстались, и она, по своей малодержательности, быть может, счастлива,

мужа ласкает и рождает детей, – а он хранит какой-то клочок и убивает себя за него... Это все равно! Он – то хорош, он всем интересен! О нем как-то легко и приятно плакать.

Словом, никого тут нельзя отметить титлом особого величия, а все серьезно и верно ведут свои роли, – вот как актеры занимавшей недавно Петербург мейнингенской труппы. Все *серьезно* поставлено!

Англичанка, про которую я, например, говорил вам, – лицо нам всех более постороннее. Ей выходка Саши, верно, должна была представляться совсем не так, как плакавшим о нем хорovým цыганкам; и довольно бы ей, кажется, прийти, посмотреть и уйти в себя снова. Так нет же – и она хотела свой штрих провести на картине. Она писала свои заметки о России, и, разумеется, делала это основательно, сверялась с тем, кто прежде ее посещал нашу родину и что говорил о наших нравах, а потом обо всем дознавала в новом, что видела, и отмечала. В старых справках она почерпнула, что «на жен нет подлей как на Москве», а дабы верно отметить новый факт, она выбрала время и адресовалась к са-



тому Сашину отцу. Она послала ему деликатное письмо, в котором выражала сочувствие его скорби и чрезвычайному достоинству, с каким он и его жена перенесли свое горе. В заключение она просила позволения знать: кто руководил их воспитанием, давшим всем им столько достойного чувства?

Старик отвечал, что его жена училась во французском пансионе, а его воспитанием руководил *monsieur Ravel*[24] из Парижа.

Англичанка находила странность в этом известии, но «змея» помогла ей, сказав:

– Если бы их учил семинарист, то вы, быть может, даже не получили бы ответа.

Тогда думали, что все грубое и неприкладное к жизни идет из семинарий, и винули их так же искренно и неосновательно, как в последовавшую за тем недавнюю эпоху хотели было заставить всех нас судить о вещах с грацией мыслителей из «Бурсы» Помяловского.

## Глава семнадцатая

Остается покончить с уголовщиной, которая во всяком разе была в моей истории. Украдены или нет деньги, а вспомните, что ведь было положено возвратить их поляку, и к этому еще было добавление.

Кроме полковых товарищей, явился еще добровольный плательщик, и притом самый настойчивый – это Сашин отец. Поляку стоило больших усилий отказаться от его требований немедленно принять эти деньги, но Август Матвейч их не взял. Вообще он вел себя во всей этой истории в высшей степени деликатно и благородно, и мы ни в чем не находили, чтобы его укорить или заподозрить. В том, что деньги были и пропали, уже никто из нас не сомневался. Да и как иначе: раз он не берет предлагаемых ему денег, то какую же он мог иметь цель, чтобы сочинить всю эту хлопотливую историю с кровавым концом?

Городское общество, для которого наше ночное происшествие не могло остаться в совершенном секрете, было того же мнения, но

одна голова обдумала дело иначе и задала нам загвоздку.

Это был неважный и несколько раз уже мною вскользь упомянутый коридорный наш Марко. Он был парень замысловатый, и, несмотря на то, что через него мы и узнали об Августе Матвейче, – Марко теперь стоял не на его и даже не на своей стороне и так нам по секрету и высказывался.

– Я, – говорит, – себя клятве и отлучению за это готов поддать, потому что я о нем вам доложил, но как теперь я подразумеваю, то это не столько моя вина, как божие пощущение. А ваше нынешнее на него расположение больше ничего, как – извините – это за то, что он не русского звания и через него об нас прошла слава про заведение, и полиция без причины, под разными выдумками, служающих забирает и все напрасно к этим деньгам сводит, чтобы путались... Грех один только, грех, и ничего больше, как грех, – заключал Марко и уходил к себе в темную каморочку, где у него был большой образник и перед ним горела неугасимая лампада.

Его иногда становилось жалко: он, бывало,

по целым часам стоит здесь и думает.

– Все думаешь, Марко?

Пожмет плечами и отвечает:

– Лъзя ли, сударь, не думать... Такое несчастье... срам, и позор, и гибель душе христианской!

Те, кто более с ним разговаривали, первые стали иметь мысли, которые потом мало-помалу сообщились и прочим.

– Как хотите, – говорили, – Марко, разумеется, простой человек, из крестьян, но он умен этим... нашим простым... истинно русским умом.

– И честен.

– Да, и честен. Иначе бы, разумеется, хозяин его не поставил над делом. Он человек верный.

– Да, да, – поддакивал наш батюшка, пуская себе дым в бороду.

– А он, смотря просто, видит, может быть, то, чего мы не видим. Он судит так: для чего ему было это делать? Денег он не берет. Да ему деньги и не надобны...

– Очевидно не надобны, если не берет, когда ему их предлагают.

– Конечно! Это не из-за денег и сделано...

– А из-за чего же?

– А-а, уж об этом вы не меня, а Марко спрашивайте. И батюшка так поддерживал:

– Да, да, да – отселе услышим Марко.

– А что же глаголет Марко?

– А Марко глаголет: «Не верь поляку».

– Но почему же?

– Потому, что он есть поляк и неверный.

– Ну, позвольте, позвольте! Однако ведь *неверный* – это одно дело, а *вор* – это совсем другое. Поляки народ амбиционный, и о них этак думать... не того... нечестно.

– Да позвольте, пожалуйста, – перебивает вдохновленный Марко рассказчик, – «этак думать», «этак думать»; а сами, наверное, вовсе и не знаете, о каком думанье говорится... О воровстве нет и речи, нет и подозрения, а поляку именно то самое и принадлежит, что сами ему присвоиваете, – то есть именно *амбиция*.

– Да что же ему нужно было, чтобы пропали деньги?

– Поляку-то?

– Да-с.

– Вам в голову ничего не приходит?

Все начали думать: «Что такое мне приходит в голову?»

– Нет – ничего не приходит.

– Это оттого, что у нас с вами, батюшка, головы-то дворянством забиты, а простой, истинно русский человек – он видит, что поляку надо.

– Да что же ему надо, – говорите, ведь это всех касается!

– Да, это всех касается-с. Ему в авантаже его родины было, чтобы нас обесславить...

– Батюшки мои!

– Конечно-с! – пустить в ход, что в обществе русских офицеров может случиться воровство...

– А ну как это в самом деле *так!*

– Да нечего гадать: это *так* и есть!

– Ах, черт бы его взял!

– Экий коварный народ эти поляки! И батюшка поддержал, сказав:

– Да, да, да.

А потом еще подумали и нашли, что соображения Марко не следует скрыть от командира, но только не надо обнаруживать, что

это от Марко, потому что это может вредить впечатлению, а указать какой-нибудь источник более авторитетный и безответственный.

– В трактире, в бильярдной кто-то говорил...

– Нет, – это нехорошо. Полковник скажет: как же вы слышали такую мораль и не вступились. Арестовать надо было, кто это говорил.

– Надо выдумать другое.

– Да что?

Вот тут нам батюшка и помог:

– Лучше всего, – говорит, – сказать, что в общей бане слышали.

Это всем понравилось. В самом деле, ведь умно: баня – место народное, там крик, шум, говор, вместе все голые жмутся и вместе на полке парятся – вместе плескаются... А кто сказал?.. разбери-ка поди или заарестуй... Всех разве надо брать, потому что тут все люди ровненькие, все голенькие.

Так и сделали; и батюшку же самого упростили с этим и пойти.

Он согласился и на другой же день все выполнил.

Полковник тоже этим слухом заинтересовался и говорит:

– И что всего хуже, что это уже сделалось общей молвою... в народе, в бане говорится. Батюшка отвечает:

– Да, да, да! всё в бане... Я это все в бане слышал.

– И что же вы... решительно не могли узнать, кто это говорил?

– Не мог-с. Да, да, да, решительно не мог.

– Очень жалко.

– Да... я очень хотел узнать, но не мог, потому что все, да... знаете, в бане все одинаковы. Нас, духовных, еще кое-как отличить можно, потому мы мужчины, но с косами, а простые люди, кои без этого, все друг на дружку похожи.

– Вы бы могли за руку схватить того, кто говорил.

– Помилуйте – намыленный сейчас выскользнет!..

И притом, как я в это время на полке парился, то мне даже нельзя было его и достать.

– Ну да – если нельзя достать, так тогда, разумеется, нечего... А только, я думаю, все-таки



это пока лучше оставить так... Теперь ведь уж несколько времени прошло, а через год этот поляк ведь дал слово приехать... Я думаю, он свое слово сдержит. А вот вы расскажите мне, как по-духовному надо думать о снах? Пустяки они или нет?

Батюшка отвечает:

– Это все от взгляда.

– Как от взгляда?

– Да, то есть нет – я не то хотел... есть сны от бога, просветительные, есть и иные – есть сны натуральные от пищи, есть сны вредные от лукавого.

– То-то вот, – отвечает полковник, – но, однако, и это еще не точно. А вот как вы отнесете такой сон. Моя жена – вы знаете – очень молодая женщина, и покойный корнет был ей и родня и друг ее детства, а потому смерть его ее страшно поразила, и она сделалась как бы суеверна. Притом мы потеряли ребенка, и она перед тем видела сон.

– Скажите!

– Да, да, да. Что касается до снов, то она относится к ним – как вы сейчас сказали. Я этого не разделяю, но опровергнуть не хочу, хотя

очень знаю, что если на ночь поужинать, то сон снится «бя» какой – стало быть, это от желудка.

– Да, и от желудка, – согласился батюшка, – даже всего больше от желудка, – но ему пришлось еще помучиться.

– Да-с, – продолжал полковник, – но ведь вот то и дело, что у нее это не сон, а видения...

– Как видения?

– Да-с, понимаете – она не во сне видит, не закрытыми глазами, а видит наяву и слышит...

– Это странно.

– Очень странно, – тем более что она его никогда не видала-с!

– Да, да, да... Это вы про кого же?

– Ну, понятно, про поляка!

– Ага-га... да, да, да! – понимаю.

– Моя жена тогда его не видала – потому что тогда, во время этого несчастного приключения, она была в постели, – так что не могла даже проститься с несчастным безумцем, мы смерть его от нее скрыли, чтобы молоко не бросилось в голову.

– Боже спаси!

– Ну да... Разумеется, уж лучше смерть, чем это... Наверное – безумие. Но представьте вы себе, что он ее постоянно преследует!..

– Покойник?

– Да нет – поляк! Я даже очень рад, что вы ко мне после баньки зашли и что мы об этом разговорились, потому что вы в своей духовной практике что-нибудь все-таки можете почерпнуть.

И тут полковник рассказал батюшке, что бедняжке, нашей молодой, розовенькой полковнице, все мерещится Август Матвейч, и, по приметам, как раз такой, каков он есть в самом деле, то есть стоит, говорит, где-то перед нею на виду, точно как бывают старинные аглицкие часы в футляре...

Батюшка так и подпрыгнул.

– Скажите, – говорит, – пожалуйста! Часы! Ведь его так и офицеры прозвали.

– Ну, я потому-то вам и рассказываю, что это удивительно! А вы еще представьте себе, что в зале у нас словно назло именно и стоят такие хозяйские часы, да еще с курантами; как заведут: динь-динь-динь-динь-динь-динь, так и конца нет, и она мимо их с сумерек да-

же и проходить боится, а вынести некуда, и говорят, будто вещь очень дорогая, да ведь и жена-то сама стала их любить.

– Чего же это?

– Нравится ей мечтать... что-то этакое в маятнике слышит... Понимаете, как он идет... размах свой делает, а ей слышится, будто «и-щцу и и-щцу». Да! И так, знаете, ей это интересно и страшно – жметя ко мне, и чтобы я ее все держал. Думаю, очень может быть, она опять в исключительном положении.

– Да, да... и это может быть с замужнею, это... очень может быть... И даже очень быть может, – отхватал сразу батюшка и на этот раз освободился и прибежал к нам, в самом деле как будто он из бани, и все нам с разбегу высыпал, но потом попросил, чтобы мы никому ни о чем не сказывали.

Мы, впрочем, этими переговорами не были довольны. По нашему мнению, полковник отнесся к сообщенному ему открытию недостаточно внимательно и совсем некстати свел к своим марьяжным интересам.

Один из наших, хохол родом, сейчас нашел этому и объяснение.

– У него, – говорит про полковника, – мать зовут Вероника Станиславовна.

Другие было его спросили:

– Что вы этим хотите сказать?

– А ничего больше, кроме того, что ее зовут Вероника Станиславовна.

Все поняли, что мать полковника, конечно, полька и что ему, значит, о поляках слышать неприятно.

Ну, наши тогда решили к полковнику больше не обращаться, а выбрали одного товарища, который был благонадежен нанести кому угодно оскорбление, и тот поехал будто в отпуск, но в самом деле с тем, чтобы разыскать немедленно Августа Матвеича и всучить ему деньги, а если не возьмет – оскорбить его.

И найди он его – это бы непременно сделалось, но волею судеб последовало совсем другое.

## Глава восемнадцатая

В один жаркий день, в конце мая, вдруг и совершенно для всех неожиданно к нашей гостинице подкатил в дорожной коляске сам Август Матвеич – взбежал на лестницу и крикнул:

– Эй, Марко!

Марко был в своей каморке, – верно, молился перед неугасимой, – и сейчас на зов выскочил.

– Сударь! – говорит, – Август Матвеич! вас ли, государь, вижу?

А тот отвечает:

– Да, братец, ты меня видишь. А ты, мерзавец, все, знать, колокола льешь, да верно, чтоб они громче звонили, ты про честных людей вздоры распускаешь, – и хлоп его в щеку.

Марко с ног долой и завопил:

– Что это такое!.. за что!

Мы, кто случился дома, выскочили из своих комнат и готовы были вступиться. Что такое в самом деле – за что его бить – Марко человек честный.

А Август Матвеич отвечает:

– Прошу вас повременить минутку – за мною следуют другие гости, при которых я вам сейчас покажу его честность, а пока прошу вас к нему не прикасаться и не трогать его, чтобы он ни на одно мгновение не сошел с моих глаз.

Мы отступили, а в это время, смотрим, уж явилась полиция.

Август Матвеич обернулся к полицейским и говорит:

– Извольте его брать – я передаю вам вполне уличенного вора, который украл мои деньги, а вот и улика.

И он передал удостоверение, что на колокольном заводе получен от Марко билет с номером, с каким Август Матвеич за день до пропажи получил этот билет из Опекунского совета.

Марко упал на колена, покаялся – и сознался, как дело было. Август Матвеич, когда ложился спать, вынул билеты из кармана и сунул их под подушку, а потом запомнил и стал их в кармане искать. Марко же, войдя в его номер поправить постель, нашел деньги, соблазнился – скрал их, в уверенности, что

можно будет запутать других – в чем, как видели, и успел. А потом, чтобы загладить свой грех перед богом, – он к одному прежде заказанному колоколу еще целый звон «на подбор» заказал и заплатил краденым билетом.

Все остальные билеты тут же нашли у него в ящике под киотом.

И зазвонили у нас свои «корневильские колокола», и еще раз все всплеснули руками и отерли слезу за бедного Сашу, а потом пошли с радости пировать.

Августу Матвеичу все чувствовали себя благодарными, а командир, чтобы показать ему свое уважение и благодарность, большой вечер сделал и всю знать собрал. Даже мать его, эта самая Вероника-то, – ей уже лет под семьдесят было, – и та приехала, только оказалось, что она совсем не «Станиславовна», а Вероника Васильевна, и из духовного звания, протопопская дочь – потому что Вероника есть и у православных. А почему думали, что она «Станиславовна», – так и не разъяснилось.

На этом вечере полковница встретила Августа Матвеича при всех с особенным внима-



нием: она встала, прошла ему навстречу и подала ему обе руки, а он попросил извинения «в польском обычае» и поцеловал у нее руки, а на другой день прислал ей письмо по-французски, где написал, что он все это время отыскивал сам пропавшие деньги вовсе не для их ценности, а для причин чести... И хотя деньги эти нынче найдены, но он их взять не желает, потому что они есть «цена крови» и внушают ужас. Он просил полковницу оказать ему «милосердие» – воспитать на эти деньги круглую сиротку – девочку, которую он отыскал и которая родилась как раз в ту ночь, когда расстался с жизнью Саша. «Быть может, в ней его душа».

Молоденькая полковница растрогалась и пожелала взять дитя, которое Август Матвейч и привез ей сам в чистой белой корзине, в белой кисее и лентах.

Ловкий поляк! – все ему даже позавидовали, как он умел сделать это красиво, нежно и вкрадчиво. Мистик и вистик!

Она, говорили, прощаясь с ним, плакала, а мы с ним простились при брудершафтах за городом в роще. Это была случайность: он

уезжал, а мы бражничали и остановили его. Извинились и затащили, и пили, пили без конца, и откровенно ему всё рассказали, что гадкого о нем думали.

– Ну и ты тоже, – приступили, – и ты нам скажи... как ты это все подстроил.

Он говорил:

– Да я, господа, ничего не подстраивал – все само собой так вышло...

– Ну да ладно, – говорим, – не виляй, брат, – ты поляк, мы тебе это в вину не ставим, а, однако, как же это ты мог отыскать сиротку-дитя, которое родилось как раз в ту ночь, как умер Саша, и, стало быть, это дитя – ровесник умершему ребенку полковницы...

Поляк засмеялся.

– Ну, господа, – говорит, – да разве можно было это подстроить?

– Да в том-то и дело! Черт вас знает, какие вы тонкие!

– Ну, поверьте, я теперь только и узнаю, что я так тонок, что даже сам себя не могу видеть. Но вы меня увольте в дорогу, а то почтовый ямщик, по своим правилам, выпряжет лошадей из моего экипажа.

Мы его отпустили, сами подсадили его в коляску и крикнули: пошел!

А он примерялся, как нам грациозно поклониться из коляски, но, верно, не успел сесть, как лошади дернули – и он предвусмысленно поклонился нам задом.

Так наша грустная история и кончилась. В ней нет идей, которые бы чего-нибудь стоили, а я рассказал ее только по интересности. Тогда было так, что что-нибудь этакое самое ничтожное затеется и пойдет расти, расти, и всё какие-то интересные ножки и рожки показываются. А теперь захват будто ух какой большущий, а потом пойдут перетирать – и меньше, меньше, и, наконец, совсем ничего нет... Иной даже любить начнет, да и оставит – скучно станет. А отчего это? – чай от многого, а более всего – думается – не от равнодушия ли к тому, что называется *личной честью*?..

*Впервые напечатано – журнал «Новь»,  
1885.*

# Таинственные предвестия

## Глава первая

При толках о возможности близкой войны, недавно, как встарь, говорили о разных необыкновенных явлениях, которые, по мнению верующих, должны предвещать необыкновенные события. В Киеве, например, у храма Трех Святителей найдены в необыкновенном положении два человеческие скелета; в Кронштадте родился необыкновенный младенец, который тотчас же заговорил, что ему надлежит наречь имя «Иоанн»; прилетные грачи не заняли старых гнезд по набережью взморья, а завились ближе вовнутрь; многим был видим редактор Комаров в сербском военном убранье...

Эти, а также и некоторые другие, столь же замечательные или, по крайней мере, очень редкие события в первых числах апреля месяца 1885 года отмечены русскими газетами великой и малой печати, и истолковывались как «предвещения» той «близкой войны», о

которой в истекшие дни все говорили и все ждали решительных известий. Особенным значением пользовалось «проречение кронштадтского младенца».

Полагали, что «Иоанник» не остановится на одном провещании своего имени, а скоро скажет и еще что-то более обще-интересное, – потом стали даже опасаться: не скрывают ли по каким-нибудь соображениям то, что говорит «Иоанник».

В виду таких событий, может статься, не излишним будет рассказать, что в этом же чудесном роде случалось у нас прежде.

Одно из таковых, как мне кажется, весьма интересное событие, – достойное внимания по своей образности и по полноте объяснения, – я нашел в принадлежащих мне отрывочных записках одного лица, пользовавшегося особенным вниманием весьма известного общественного деятеля и писателя, Андрея Николаевича Муравьева. Там оно значитя под заглавием: «Событие о сеножатех».

Дело касается загадочного происшествия, которое случилось как раз за год перед Крымскою войною и заставило говорить о себе

многих в Петербурге и в других местах.

Вот что сохранилось об этом в заметках современника.

## Глава вторая

Раз, летом 1852 года, покойный император Николай Павлович, в каком-то разговоре с графом Протасовым, поинтересовался Валаамским монастырем. Граф не был приготовлен к вопросам государя, но не хотел обнаружить своей неготовности и, начав отвечать бойко и речисто, увлекся до некоторой неосторожности. Он необыкновенно нахвалил государю Валаамскую обитель со стороны красот ее островного местоположения, аскетического благочестия ее обитателей, их превосходных хозяйственных учреждений и необыкновенных успехов их в садоводстве и огородничестве, причем было что-то говорено и о винограде.

Государь находился в самом благоприятном расположении, чтобы выслушать рассказ графа, и особенно заинтересовался виноградом, а потом заметил:

– Это все любопытно. Брат Александр был

там, и я помню, что монастырь произвел на него сильное впечатление. Там бы стоило побывать.

Граф, в каких он знал – соответственных выражениях, отвечал государю, что проехать, действительно, стоит, а государь уронил в ответ на это: «да, да», и перешел к другим речам.

Было ли у государя серьезное намерение посетить Валаам или замечания его были высказаны вскользь без дальнейших последствий, но граф Протасов тотчас же после описанного разговора поехал прямо из дворца в лавру к бывшему тогда митрополиту Никанору[25] и сообщил ему слова императора, – как событие, которое немедленно требует подготовительных действий.

Граф был беспокоен, потому что он не хорошо знал Валаам и опасался, не проскользнуло ли в его ответах государю чего-нибудь несоответственного и опрометчивого. Графу, конечно, была известна необыкновенная памятность государя и его строгость, если он узнает обман. Следовательно, если государю вздумается поехать на Валаам, да он найдет

там что-нибудь не то, что ему рассказал граф, то ему от императора достанется. А что государь ничего не забудет и обстоятельно сравнит рассказ графа с действительностью, в том тоже не могло быть ни малейшего сомнения.

Беспокойство графа не показалось напрасным и владыке Никанору. Напротив, оно еще значительно возросло в митрополите, так как высокопреосвященный проживал в Петербурге в епископском сане с 1848 года, а на Валааме тоже еще не бывал; и теперь, когда обер-прокурор заговорил с ним, он почувствовал, что и сам не знает – в какой степени действительность Валаама отвечает словесным изображениям графа. Особенно внешний порядок и чистота, которые обыкновенно не скрывались от глаз императора, легко могли быть ниже того, что о них было рассказано. Все это высокопреосвященный сам и выразил графу.

– Ну, вот видите ли, как оно есть! – отвечал на то граф.

– Это никуда не годится. Так и мне, и вам может быть очень неприятно. Вы знаете, как государь проникателен.

– Знаю.



– Ну, так я бы советовал вам предупредить государя и самим туда съездить – поклониться святыням и все посмотреть и исправить.

Митрополит согласился.

– Я и сам, – говорит, – давно желал поклониться преподобным Герману и Сергию.

Граф одобрил и вызвался сам доложить государю об этом намерении.

Протасов с этим уехал, а высокопреосвященный Никанор обратился к лаврским записям и к старым инокам лавры за справками: когда и кто из петербургских иерархов ездил сам на Валаам и какие это имело последствия?

Оказалось, что из всех митрополитов, бывших прежде высокопреосвященного Никанора, совершал паломничество на Валаам только один Михаил,[26] и цель его путешествия тоже была сложная: главное влечение, разумеется, было поклониться мощам преподобных Германа и Сергия, но совпала эта поездка владыки с дошедшим до него слухом, что покойный государь Александр Павлович желает съездить помолиться на Валаам.

## Глава третья

Это было летом 1819 года, и именно в половине июля. Одиннадцатого числа июля, в день св. благоверные княгини Ольги, одна из посетивших владыку тезоименитых дам большого света сообщила преосвященному, как кому-то случилось заинтересовать государя рассказом о духовной жизни, о прозорливстве и других особенных дарованиях валаамских скитников и схимников, а шестнадцатого числа того же июля владыка Михаил «прибыл уже на Валаам на трех лодках в сопровождении Выборгского протоиерея, иеромонаха, двух иеродиаконов, четырех певчих и прочих духовных и светских лиц. Митрополит Михаил пробыл здесь четыре дня (16–20 июля), – служил, молился, провожал покойника и шествовал со славою, и 20 июля отплыл на лодках». (См. описание Валаамского монастыря. Спб., 1864 г.). А «в августе на Валааме разнеслось известие, что к десятому числу туда будет государь». Слух этот скоро и оправдался: «уже шестого августа получено было с нарочным от министра духовных дел,

князя Голицына, игуменом Валаамского монастыря письмо, в котором изъяснена высочайшая воля государя императора *непрерывно* быть в монастыре, и повелено: не готовить ничего, – церемонии не делать, а принять самодержавного посетителя как *благочестивого путешественника*» (ibidem).

Государю Александру Павловичу очень хотелось видеть отдаленную обитель так, как она есть – ничем не приспособленную к нарочитому приему, а в простом, в обычном строе ее общежития, но это не удалось. «Описание» сообщает, что усердные иноки не могли совладать с охватившею их радостью и едва государь прибыл в Сальму, как его здесь уже встретил валаамский эконоом Арсений. Правда, что эконоом как будто случился здесь по экономическим надобностям обители, а это было в порядке вещей, но тем не менее государь Александр Павлович едва ли принял это за простую случайность, и во всяком случае он воспользовался свиданием с эконоомом и сам настойчиво выразил ему свое желание освободиться от всяких встреч и от всякого особенного почета на Валааме. Государь Алек-

сандр Павлович «сам» подтвердил эконому, чтоб встречи никакой не было, чтоб служб церковных не прибавлять и не убавлять, а быть всему по монастырскому положению, чтобы рук у его величества не целовать и в ноги ему не кланяться. (Опис. Валаам, монасты., стр. 195).

И более того: «склонный к тонкой деликатности, государь, чтобы не смущать тишину скитской жизни и не нарушать богомысленного настроения братии блеском и многолюдством придворных, переплыл на Валаам, не взяв с собою никого, кроме „одного камердинера“. Но в монастыре все-таки узнали о приезде его величества, когда он уже всходил по гранитной лестнице. Тогда *затрезвонили во все колокола*, и братия начала сходиться со всех сторон к собору. Государь стоял на церковном крыльце и внимательно изволил смотреть на монахов, *поспешавших друг перед другом*» (196). Это было уже не то, чего хотелось государю.

«Взойдя в собор, государь стал посредине церкви, игумен был в ризе и с крестом, а иеродиакон в стихаре, царские двери отворе-

ны и иеродиакон возгласил многолетие».

Государь выслушал эту встречу и пошел «прикладываться к местным иконам», а игумен, тем временем, снял с себя ризу и «стал за амвоном с братиею».

«Государь подошел к нему и принял благословение сначала от него, а потом от всех иеромонахов, *целуя у каждого руку, но своей никому не давая*; затем кланялся всей братии». Всем этим государь Александр Павлович сколько удовлетворял своему собственному настроению, столько же и давал чувствовать братии – в каком духе им надлежало держать себя в его присутствии; но братия, в ответ на поклон императора, «поклонилась ему в землю» (*ibidem*). Тогда государь уже сказал прямо в лицо инокам, «чтобы ему никто не кланялся поклоном в землю, подобающим только Богу».

В этом же роде случилось нечто и в отношении служб: государя опять, спрашивали, как служить, – он опять просил служить все по установлению. Ему все хотелось, чтобы на него не обращали внимания, а инок Савватий во время службы оставил свое место, чтобы

«поднять перчатку», которую уронил государь, и «его величество не допустил до этого отца Савватия» Одну службу затянули так, что «иеросхимонах-пустынножитель Никон, в присутствии государя при привычном внимании и напряженном слушании божественного пения, выпустил костыль из рук и упал, а государь его поднял и посадил» (ibidem).

Когда все это было приведено на память высокопреосвященному Никанору, он увидел, что есть очень большая надобность подготовить валаамских отшельников к тому, чтобы они могли держать себя при встрече государя Николая Павловича соответственнее того, как держали себя, встречая покойного Александра Первого. А для того, чтобы такую подготовку сделать многостороннее и избежать недосмотров, допущенных митрополитом Михаилом, высокопреосвященный Никанор пришел к очень счастливой мысли – повести с собою на Валаам не одних спутников из столичного духовенства, которые могли дать инокам подходящие советы в отношении богослужения, но также пригласить с собою и двух-трех мирян из таких людей, кото-

рые совмещают в себе настоящее русское благочестие и настоящее знание этикета и вкусов государя.

В таких лицах тогда недостатка не было. К митрополиту была вхожа целая группа светских людей, из коих каждый мог основательно оспаривать у другого право и на общественное уважение, и на набожность и благочестие. Таковы, например, были: Степан Онисимович Бурачок (изд. «Маяка»), граф Дмитрий Николаевич Толстой, Андрей Николаевич Муравьев, Андрей Андреевич Вагнер, Аркадий Николаевич Мазовской и Иван Якимович Мальцев.

Выбор был свободный, так как каждое из этих лиц отвечало целям, которые имел митрополит, и каждое, конечно, изъявит полнейшую готовность с рвением принести свою долю ожидаемой от него пользы.

Мысли владыки втайне намечали отдать пред всеми предпочтение Андрею Николаевичу Муравьеву, но судьба и разные неожиданные вещи устроили все это иначе, и притом гораздо лучше и ко всеобщему удовольствию многих.

## Глава четвертая

Единомысленное содружество или «братство», состоявшее из Бурачка, гр. Дм. Н. Толстого, Андрея Н. Муравьева, Андрея А. Вагнера и Ивана Якимовича Мальцева, само признавало или, лучше сказать, чувствовало над собою нравственное старейшинство Андрея Николаевича Муравьева и было от него в некоторой авторитетной зависимости. Он их тихо, но плотно подавлял известными превосходствами своей натуры – смелостью, оригинальностью и беззастенчивостью; притом все они признавали в нем большой ум и талант и знали, что высокопреосвященный Никанор отличает его от прочих и «помогает ему» так чувствительно, что это давало повод многим утверждать, будто Муравьев «жил за счет митрополита».[27]

Андрей Н. Муравьев – лицо очень замечательное, оригинальное и до сих пор еще никем не описанное с тою тщательностью, какой заслуживает этот характерный выразитель своего времени. У меня кое-что собрано для его характеристики; владеют также дра-



гоценными в этом отношении материалами и другие, но в настоящем рассказе, конечно, нехстати подробно заниматься этим любопытным делом, которое должно составить предмет особого сочинения. Тут отметим об Андрее Николаевиче только вскользь, что идет к речи о значении сего лица в известном в свое время «религиозном братстве», из которого были взяты светские спутники при путешествии митрополита Никанора на Валаам.

Андрей Николаевич, поссорившись с синодальным обер-прокурором графом Протасовым, потерял свое место в синоде и остался при небольшом жалованье в тысячу рублей, которое ему отпускали из сумм министерства иностранных дел. С этими средствами он нуждался очень, и ему помогали многие, отчасти чувствовавшие некую духовную связь с ним, а отчасти «будировавшие» таким образом против графа Протасова. Митрополит московский отдал ему для житья большое помещение на Троицком подворье, у Аничкина моста, а петербургский митрополит «поддерживал его денежно». В последнем с владыкою

Никанором участвовали и другие из лиц духовных и светских.

Андрей Николаевич в этом отношении обладал большим тактом и отлично умел группировать знакомство. Резкие люди не без оснований называли его «салопницей». Будучи сам беден и нуждаясь в помощи, он группировал нужных ему людей в кружок и «доминировал над ними» силою своего духовного авторитета. Над этим шутили, и он сам в шутку называл свой круг «своим светским приходом» и собирал этих прихожан к себе в митрополичьи покои на так называемые «светские всенощные».

«Светские всенощные» – это собственно был вечерний чай, на который заходили к Андрею Николаевичу его друзья по окончании всенощной службы в митрополичьей церкви.

Андрей Николаевич, будучи достаточно смешон и уязвим во многом, имел слабость всем и всему давать особенные названия или клички. Как вещи, так и люди назывались у него не своими именами. Следуя такой привычке, он одну из комнат своего помещения в

митрополичьих апартаментах устали скамьями, застлал скатертями и назвал «боярской палатой». А как на стенах этой палаты он развесил портреты знакомых ему патриархов, то приглашение пить здесь чай выражалось словами: «пить чай под патриархами». Люди у него тоже ходили все с особыми кличками, часто весьма неудачными, а иногда и довольно плоскими. Особенно молодежь, или его «пажи», и «берейторы», которые при нем состояли и являлись «по очереди», – эти Ганимеды все откликались не на свои имена, а на данные им клички. Но об их кличках и о них самих поговорим в другое время и в другом месте, а теперь о «чае под патриархами».

## Глава пятая

Волею-неволею и своею охотою отрешившийся от «света», Андрей Николаевич Муравьев старался показывать, что он «светом вовсе не дорожит», но на самом деле он никогда не переставал интересоваться всем, что делается в «больших сферах», и имел все там происходившее на слуху. Если мы назовем здесь хоть несколько лиц из его постоянной компании или, как сам он называл, из его «прихода», то всякому станет ясно, что он и мог иметь очень скорые и очень верные известия.

К Муравьеву «пить чай под патриархами» собирались, между прочим, известная Татьяна Борисовна Потемкина, графиня Ламберт (рожденная Канкрина), Мальцева, Марья Яковлевна Веригина (рожденная Булгарина) – жена Александра Ивановича Веригина, бывшего генерал-губернатора, – Александра Федоровна Туманская (рожденная Опочинина), сестра ее Горяинова, жена Николая Михайловича Лонгинова, Мария Михайловна (рожденная Корсакова) и др. А из мужчин – Абамелик

(женатый на Лазаревой), Мезенцев, Сивере, Эвальд, Мазовской, Павел Петрович Мельников, Вагнер и Шаховской. Все эти люди постоянно вращались в разных тогдашних деловых кружках: везде собирали всякие сколько-нибудь интересные новости и сносили их в «боярские палаты» к Муравьеву, который выслушивал их по виду с некоторым пренебрежением, но в самом деле – с большим вниманием и никогда не упускал того, что могло касаться каких-нибудь личных его видов.

Из лиц, сейчас нами названных, один даже имел долг или обязанность всегда являться в собрание «под патриархами» *непрерменно* с новостью и за то получил от Андрея Николаевича кличку «Репетилов».[28]

## Глава шестая

«Репетилов» приходился сродни Андрею Николаевичу (племянник) и занимал такую должность, по которой мог скоро и верно знать новости Двора. А потому при «чае под патриархами» он был интересная персона, которую всегда встречали с любопытством и которой потому даже дозволялось запаздывать и являться «под патриархов» не из церкви, а прямо из города, лишь бы только его «вечернее приношение было в порядке».

«Приношения» к «чаю под патриархами» были не только в обычае, но это, так сказать, составляло необходимое условие. Андрей Николаевич не скрывал, что его дела находятся в большом стеснении, но, напротив, он сам говорил об этом всем и своей веселою откровенностью довольно легко и благоуспешно выходил из затруднений, не испытывая лишений.

– Трудящийся достоин mzды, – говорил шутя, но с серьезными целями Муравьев. – Я вас просвещаю, а вы меня кормите. Без меня вы ничего бы не знали, а я напишу моим золо-

тым пером, что вам нужно знать, и вы будете знать.[29]

Поэтому являлись с приношениями все приходившие «под патриархов». Не освобождались от этого даже и люди совершенно бедные. Из тех один (В.) был обязан приносить сливки, другой (А.) – калачи, и т. д. – кто что мог. У кого не было ничего своего для приношения, тому Андрей Николаевич доставал возможность отбывать свою повинность на счет «вверенной части», – так, например, М. Э. и С. присылали ему верховых лошадей из рейторской школы, и он совершал на них по городу свои прогулки, которые обращали на него внимание и не позволяли забывать о нем людям беспамятным. Но всех исправнее и всех щедрее в приношениях были вышеназванные дамы, между коими находились обладательницы огромных состояний. Их попечениями Андрею Николаевичу доставлялось не только все существенно необходимое для безнуждного существования, но также не мало и излишнего. Дамы только иногда затруднялись знать, что нужно Андрею Николаевичу или что ему желается; но в этих случаях их

обыкновенно выручал тезка Андрея Николаевича – «корнет-хохол» А. А. Вагнер, который был одно время как бы наперсником Муравьева и его ризничим и кравчим его «боярской палаты». Как бы тщательно ни был пополнен весь палатский инвентарь Муравьева, Вагнер всегда умел указать желающим услужить Андрею Николаевичу – что еще может быть предложено к его благоугождению. Даже, если было укомплектовано все, – то и тогда еще желающим приносить не приходилось тосковать в неведении, что может быть предметом новых приношений. Андрей Николаевич постоянно носил дома черные полукафтаны (архалуки) из шелковой материи, устроенные так, что они должны были застегиваться на пуговицы, но пуговицы к ним не пришивались, а только прометывались петли. В эти петли вставлялись запоны из драгоценных цветных камней, обделанных в серебро или в золото. Пуговицы одного какого-нибудь цвета Андрею Николаевичу надедали, и он имел разные смены: яхонтовые, изумрудные, рубиновые, янтарные. Новая смена в этом роде всегда приносила Андрею



Николаевичу удовольствие, а Андрей Андреевич Вагнер знал вкусы «брата Андрея» и всегда мог помочь дамам, затруднявшимся – какое приношение было уместнее во всякую данную минуту.

Понятно, что так хорошо обставленный А. Н. Муравьев был неупустительно извещен о том, что случилось после мимолетного разговора государя с графом Протасовым о Валааме, и предполагавшаяся поездка митрополита вызвала в Андрее Николаевиче свои соображения.

Дело представлялось так, что Андрею Николаевичу, кажется, следовало бы иметь первое место и главную роль в этом паломничестве, и так как с мероприятиями по этому поводу медлить было некогда, то Андрей Николаевич тотчас же и сделал свои распоряжения по причету.

## Глава седьмая

У них в «братстве» был такой порядок, что к концу «чая под патриархами» Андрей Николаевич, как «настоятель», назначал подначальным ему младшим братьям – куда им надлежит являться на завтрашние воскресные службы.

Назначения эти делались всякий раз по непосредственному его усмотрению: часто, например, назначалось посетить «внезапно» ранние службы у Пантелеймона или у Симеона, где Андрей Николаевич преследовал известные ему упущения (особенно леность какого-то диакона), но иногда надобность указывала им явиться «внезапно» в других храмах, – и все эти распоряжения давались только накануне, под «патриархами», так что об этом никто не мог предупредить неисправных священнослужителей, и Андрей Николаевич с «братиею» настигали упустительных врасплох, со всеми слабостями, и тут же взыскивали или исправляли.[30] Если же все по храмам епархиального ведомства в столице шло в порядке и упущений нигде не предви-

делось, тогда Андрей Николаевич позволял себе и своим братьям высшее духовное удовольствие: они все могли съезжаться в Александро-Невскую лавру, в Крестовую церковь митрополита, и там даже принимать возможное для мирян личное участие в службах. Из «братии» Андрей Николаевич Муравьев и Андрей Андреевич Вагнер почитались за хороших чтецов, и им дозволялось читать в Крестовой церкви за всеобщую шестопсалмие. (Сам митрополит слушал это чтение, сидя у окна, которое было проделано в церковь из его столовой.) Вагнер и Муравьев читали «каждый в своем роде»; но как одним из их слушателей больше нравилось чтение Муравьева, а другим был приятнее Вагнер, то в общих интересах, для уравнивания слушателей, между обоими мастерами читать была установлена очередь: один раз читал «Андрей большой», а в другой – «Андрей меньшей», т. е. Вагнер.

Оба чтеца в очередь свою подготавливались к чтению и превосходили друг друга в своем искусстве, а потому случаи эти представляли интерес для компании и сопровождались

некоторою особенною торжественностию. В те дни, когда читали Муравьев или Вагнер, Андрей Николаевич приезжал в лавру один, так как он был очень честолюбив и занимал в церквах особые места (в Троицком подворье Муравьев, в отсутствие московского митрополита, стоял всегда на его месте), а весь остальной мужской персонал «братии» должен был приезжать разом «в курятнике». Это требует объяснения. «Братия» съезжалась сначала на Моховую, в дом секунд-майора Ивана Якимовича Мальцева, к обеду. Обед в таких случаях происходил ранее обыкновенного, и при последнем блюде к крыльцу подавалась большая четвероместная карета, которую, со слов Муравьева, называли «курятник». В этот-то «курятник» усаживались – сам чтец Вагнер («иже бысть первый по Фараоне») и знатоки службы: Бурачок, Толстой и сам секунд-майор Мальцев.

В Крестовой церкви оканчивалось служение, чтецы отличались, и затем все шли на чай к митрополиту, где и проводили час в приятных разговорах о том, что было на ту пору интересного в городе.

Муравьев имел полное основание рассчитывать, что в этот раз там дежурный разговор будет о Валааме, но, к крайней своей досаде, он очень грубо ошибся.

Андрей Николаевич понял, что это неспроста и что ему что-то подстроено.

## Глава восьмая

Положение Муравьева в духовенстве было чрезвычайно странное. Близкий по своим отношениям к патриархам и вообще высшим иерархам, он вовсе не пользовался расположением клира. Напротив, он имел в числе священнослужителей множество недоброжелателей и даже некоторое число очень откровенных и смелых врагов, которые не боялись «ходить на него в одиночку». Из них один такой жил тогда в Невской лавре, – это был знаменитый синолог, архимандрит Аввакум, известный по своей учености, по благородной прямоте характера, по неукротимой пылкости и по анекдотической небрежности в отпращивании совершенно несродных ему цензорских обязанностей, к которым он был назначен и потом отрешен. За продолжитель-

ную жизнь в Китае отец Аввакум совсем «отвык от европейской политики» и не скрывал никаких своих чувств: он гласно говорил, что «самое безвредное чтение – читать этикетки на бутылках, а самый противный человек на свете – Андрей Муравьев с братнею его». И Андрей Николаевич это знал, потому что Аввакум однажды высказал всю эту тираду за столом в присутствии самого Муравьева; но Муравьев не мог ему ничего сделать и даже не дерзал его припугнуть. Он даже не выдумал Аввакуму никакой клички, кроме как «китаец», что, впрочем, составляло обыкновенное и даже известное в монастырском обиходе прозвание «Аввакума китайского».

[31] Этот характерный старик терпеть не мог Муравьева будто бы за то, что он и его «иезуиты» «много стоят» высокопреосвященному Никанору и увлекают его «к светскости». Аввакум любил приволье и простоту, любил и уважал в человеке прямую доброту и честность, был заботлив о сиротах и не находил никакого удовольствия в сообществе светских людей, если они не занимаются «чтением этикетов». Положение же его было несрав-

ненно лучше и тверже положения Андрея Николаевича, которое всегда «зависело от игры обстоятельств», тогда как «китайский Аввакум» стяжал себе самую твердую репутацию и имел до шести тысяч рублей в год «получения» при готовой, неотъемлемой монастырской квартире, выходившей окнами как раз насупротив митрополичьих покоев.[32]

Здесь он мог видеть из своих окон всех, кто приезжал к митрополиту, и когда замечал приезд Муравьева с его «братией», то впадал в гневность, и если на тот случай был еще «начитавшись этикетов», то не таился с своими чувствами, а открывал форточку и кричал:

– Опять вы налетели, иезуиты!.. Пошли вон, попрошайки!

И так далее, в этом роде.

Муравьев был очень самолюбив и мстителен до бесконечности, и он нимало не таился с этими качествами. Очень нередко он даже своим приближенным и друзьям резко говорил серьезным тоном:

– Прошу не забывать, что я *Муравьев*.

Но Аввакуму он возражать не смел и отыг-

рывался от его обид, представляя, будто их не замечает. Иного ничего и не оставалось, потому что если бы он напомнил ему, что он «Муравьев», то Аввакум у него в долгу бы не остался, ибо почитал себя «ничим же меньше» и, кажется, имел на то основание. Но и, кроме независимого Аввакума, при особе митрополита были еще лица, в которых Муравьев также имел более или менее затаенных недругов. Таков был, например, знаменитый в летописях лавры протодиакон-монах Виктор.[33] Это был величайший знаток богослужбных церемоний, какому не было равных даже между протодиаконами, всегда ведущими весь порядок сложного архиерейского богослужения. Андрей Николаевич Муравьев тоже мнил себя знатоком этого предмета и от многих был почитаем за такое знание, но при познаниях, навыке и распорядительности Виктора все муравьевские сведения ничего не стоили, и Андрей Николаевич даже боялся говорить и не любил Виктора, как соперника, который подавлял его своим авторитетом. Андрею Николаевичу оставалось одно: держаться будто покровительствующего



Виктору тона, а между тем ронять его потихоньку в глазах владыки сожалениями о «разночтениях», которым прилежал протодиакон по примеру Аввакума. Но это «сожалительное коварство» обнаружилось и поселило в сердце протодиакона горькие чувства против Муравьева, а серьезно повредить Виктору оно не могло, так как он был человек нужный и даже казался незаменимым. Притом же «разночтения» Виктора совсем не мешали делам службы. Протодиакон Виктор, хотя был от природы и прост и снисходителен, но тоже, подобно Аввакуму, посматривал на Муравьева свысока, как человек нужный на человека, представляющего из себя что-то такое, без чего все обходиться может.

Казалось, что Виктор иногда тоже, подобно Аввакуму, желал обнаруживать свое пренебрежение к Муравьеву очень открыто. Так, например, он часто обтирал со лба пот цветным фуляром перед самым лицом Андрея Николаевича, который находил такой «форс» со стороны протодиакона совершенно непозволительным.

Андрей Николаевич даже не раз ему гово-

рил: «Вы меня этим просто убиваете»; но отец Виктор отвечал: «А что же, если у меня такая привычка», – и продолжал его «убивать».

Но кроме этих двух лиц, которые своего нерасположения не скрывали, но зато бились честным оружием в открытом бою, у Андрея Николаевича при митрополите были еще два человека, в души которых было гораздо труднее проникнуть, чем в души Аввакума и Виктора; эти два лица были: письмоводитель митрополита Навроцкий и секретарь Ласский, оба из малороссиян, – люди тонкие и с влиянием. Притом последний из них, Ласский, тоже делал конкуренцию Андрею Николаевичу еще в том, что владыка считал этого своего чиновника за знатока «светской политики». Андрей Николаевич считал это за вопиющую несообразность, но отчасти, должно быть, в Ласском были политические дарования. По крайней мере мы должны так думать, судя по наступающему случаю, который обличал сообразительность Ласского в ущерб желаниям Андрея Николаевича, за «престиж» которого, однако, восстала сила судеб и подняла его как пренебреженный камень на са-

мую главу угла.

## Глава девятая

Когда Андрей Николаевич после всенощной вошел в апартаменты митрополита Никанора, он застал здесь те открыто и тайно неприязненные ему лица, о которых мы выше упомянули. Архимандрит Аввакум, который, по обыкновению, готов был всегда «будировать» против Муравьева, и теперь, при входе его, громко рассказывал кому-то, как просто жил в этом самом помещении предместник Никанора – митрополит Серафим.

– Вот, – говорит Аввакум: – эта комната была у него гостиная, и вот тут в стене было окошечко к его келейнику. Бывало, позовет к себе после всенощной кого-нибудь чай пить, а келейник не подает чаю. Он к окошечку и говорит: «Давай же скорее чаю!» А тот отвечает: «Подождите, владыко, – воды нет». И ждали, и не обижались, потому что к нему не приходили таковые, которые...

Андрей Николаевич почувствовал, что эти «таковые, которые» могут залететь в его огород, и поспешил проникнуть далее здесь сто-

явших и ожидавших выхода владыки. Этим он избегал неприятности слушать Аввакума и всем дал почувствовать, что он «Муравьев».

Но зато самое свидание с глазу на глаз, наедине с митрополитом, Андрея Николаевича не порадовало. Его штатный «Репетилов» не оказался на полной высоте своего призвания и оконфузился. Он принес к чаю «под патриархами» не самое свежее приношение. Вести Репетилова не были самые свежие, и оттого вышли бесчисленные досаждения... Дело о путешествии на Валаам ушло очень далеко вперед против того, что было рассказано «под патриархами». Граф Протасов уже довел о желании митрополита до сведения государя, а государь приказал «снарядить экспедицию как можно приличнее». В таком случае, конечно, хорошо бы спросить Муравьева, но граф Протасов его не жаловал, а другие не желали о нем напомнить митрополиту, и потому вопрошен был Ласский, которого Муравьев в насмешку назвал «церемониймейстером».

Ласский, однако, имел вполне достаточную компетентность в деле, о котором его

спрашивали, и никаких насмешек не заслуживал. Он знал, что плавание митрополита Михаила Десницкого «на лодках», при теперешних взглядах, не может быть признано за «приличное», и навел, где знал, справки, как плавал по петербургским водам при Петре Великом Феофан Прокопович. Справка показала, что судно, носившее владыку, ходило под митрополичьим флагом... Вот как приличествовало плыть и высокопреосвященному Никанору, который тоже любил пышность. Государь приказал дать митрополиту вместо двух лодок «два парохода и чтобы оба шли под митрополичьим флагом». Штаг своей свиты владыке предоставлено было составить по его непосредственному усмотрению, а он призвал на совет опять того же Ласского, и Ласский предложил такой подбор лиц, какого лучше нельзя выдумать для прикровенных соображений, руководивших экспедицией. С митрополитом ехали оба его секретаря – Навроцкий и Ласский, которые знали и историю, и епархиальные дела в совершенстве; архимандрит Сергиевской пустыни (впоследствии архиерей) Игнатий Брянчанинов, кото-

рый знал и светское, и духовное не хуже, чем Муравьев, но притом обладал еще ласкою и уветливостью прекрасного характера; архимандрит Аввакум-китайский, археолог, нумизмат и такой книговед, что ему довольно было поглядеть библиотеку, чтобы понять, что в ней есть и как ее показать лицом; протодиакон Виктор – тихий, смирный, голосистый и головастый, с замечательною манерою особенно хорошо носить волосы и вести служение в величайшей тишине и стройности. Он в один, в два приема мог исправить несоответственные манеры служения в любом малоискусном скитнике. Словом, никого не брали лишнего, но во всяком нужном роде был человек, вполне отвечающий требованию. А эти избранники, каждый по своей части, знали кого еще прихватить нужно; так, например, Игнатий Брянчанинов взял с собой из своей Сергиевской пустыни повара, православного чухонца, по имени Сергия. Это был «врожденный талант», который умел готовить монастырские трапезные кушанья – как никакой другой повар. Рассчитывали, что Сергий мог принести свою долю благих указа-

ний на уединенном острове, где во многих отношениях не знают лучшего, а держатся приемов рутинных. Из светских было приглашено несколько лиц из моряков, кажется, больше по выбору Брянчанинова. Муравьев и его клирики были «абортированы», и это было бы непоправимо, если бы, к счастью, не явился задержавший отплытие вопрос о флаге.

## Глава десятая

Военные пароходы, на которых следовало плыть митрополиту, были готовы; но нигде не могли отыскать того флага, под которым плавал Прокопович. В лавре этого флага не оказалось и никто не знал, где его следует искать. Пришлось действовать наугад. Думали, что флаг может быть в синодальном архиве, и искали его, но не нашли. Потом пришло на мысль – не положили ли его, по миновании надобности, где-нибудь в запасных кладовых адмиралтейства, и опять тут везде искали, но тоже не нашли, и стали думать, что всякие дальнейшие поиски будут напрасны, потому что, очевидно, митрополичий флаг после Феофана легкомысленно почли за

вещь, которая больше не нужна, и сунули его куда-нибудь небрежно, без описи и расписок, и он где-нибудь тлеет без всяких следов, а может быть даже и уничтожен каким-нибудь невежественным профаном, польстившимся на кусок материи. И когда явились такие, по-видимому, весьма вероятные соображения, тогда пришли к заключению, что дело собственно не в том, чтобы отыскать старинный митрополичий флаг, а гораздо скорее и проще будет устроить такой флаг вновь и плыть под ним без задержания. Но тут обнаружилось наше обыкновенное русское небрежение в геральдических делах: несомненно было, что митрополичий флаг существовал, но какой именно он был, т. е. какого цвета и что на нем было изображено, – об этом нигде не нашли никаких записей и никаких рисунков. Тогда, чтобы не останавливаться бесконечное время на этом вопросе, для основательного разрешения которого не находилось никаких положительных данных, решились сделать поскорее новый флаг «с приличными изображениями», – и это так и сделали.[34]

Только эти хлопоты с флагом и были при-



чиною того, что митрополит не отплыл без ведома Андрея Николаевича и что этот последний мог иметь при экспедиции на судах митрополита своих людей. Высокопреосвященный Никанор, в угождение ему, пригласил с собою Мазовского, Вагнера и еще кого-то... Компания составила не малая. Оба парохода в прекрасный, светлый, погожий день отвалили с блестящим экипажем от петербургской пристани и направились вверх по Неве к Ладожскому озеру. А Андрей Николаевич остался в Петербурге, вероятно, не в наилучшем расположении духа, и ходил ли он в своем архалуке по покоям Троицкого подворья, или ездил верхом в своем штатском плаще, – он, без сомнения, чувствовал желчную досаду от того, что терпел в угоду прихотям «гусара», как величал он графа Протасова.

Впрочем, такие удары ему были уже знакомы, и он их старался переносить с достоинством, что ему порою и удавалось.

## Глава одиннадцатая

Между тем отплывшие под митрополичьим флагом суда совершали свой ход так весело и благополучно, что это навсегда оставило самое приятное впечатление во всех соучастниках эскадры. Погода стояла прекрасная; солнце горело на небе, воздух был тих и тепел, невозмутимая гладь вод блистала как зеркало. Везде, на встречных судах и по берегам реки, все замечались оживленные и веселые лица. Некоторые были даже очень веселы. В последнем роде отличалась публика, помещавшаяся на палубе небольшого частного парохода, который отвалил от другой петербургской пристани почти одновременно с эскадрою митрополита и, нагнав ее, шел за нею очень в небольшом расстоянии.

На этом пароходе было много кавалеров и дам: оттуда слышались звуки музыки, смех разных голосов и смешанный русский и иностранный говор.

Появление этого парохода с веселыми пассажирами было неожиданностию для митро-

полита и его спутников, и им удалось разгадать эту неожиданность только в Шлиссельбурге, где пароходы, прежде чем войти в озеро, пристали на короткое время, чтобы дать возможность пассажирам поклониться чудотворному образу, находящемуся в прибрежной часовне.

Оказалось, что это едет очень интересная компания милых и веселых людей, состоящая по преимуществу из французских и русских артистов и художников, тоже собравшихся полюбоваться красотами Валаама. Пришелся ли выезд их случайно в одно время с отплытием митрополита, или они, быть может, нарочно старались увидеть монастырский остров, когда там будут встречать высшего церковного сановника, — это осталось неизвестным. Одни говорили так, а другие иначе; но высокопреосвященный Никанор, чувствовавший себя тоже в прекрасном расположении, слушая сообщение об этом, не обнаружил ни малейшего неудовольствия и сказал:

– Господь с ними! они нам не мешают.

Услыхав такой снисходительный отзыв от владыки, некоторые из его свиты, заметив-

шие в числе артистов известного комика Мартынова, сделали было даже предложение пригласить его в Шлиссельбурге пересесть с частного парохода на казенный пароход митрополита, но высокопреосвященный Никанор улыбнулся и отвечал:

– Нет. Зачем его отрывать от своих. Всякому в своей компании свойственнее. Не станем мешать друг другу.

Пароходы вошли в озеро и, держась одного фарватера, опять пошли на виду и на слуху один у другого. Пассажиры их как будто не обращали друг на друга никакого внимания; но, однако, тем не менее, с обеих сторон можно было наблюдать взаимную деликатность. Несходные по своему положению путники старались ничем не стеснять одни других: митрополит не выходил на палубу, а сидел у открытого окна в рубке, а по другую сторону этого окна, против него, сидели на морских складных табуретах Брянчанинов и китайский Аввакум. Преосвященный и его спутники вели самые веселые и оживленные беседы. «Лицедеи» пели и шутили, но сдержанно; они, очевидно, старались умерять свое весе-

лье, чтобы оно не очень доходило до подвижного монастыря.

Тотчас по входе в Ладожское озеро начался обед, который был отдельно сервирован для мирян и для монахов. Для первых готовили обыкновенные морские «кохи», а для митрополита и его свиты изговлял трапезу тот знаменитый в свое время православный чухонец Сергей, кулинарными способностями которого скромно щеголял Игнатий Брянчанинов.

Тот, кто хотел быть «говейным» и, отказавшись от скоромной стряпни «кохов», присоединился к постной трапезе иноков, – был положительно в выигрыше, потому что отец Сергей на воде даже превзошел свою репутацию, составившуюся на суше. Впрочем, может быть, этому много помогал и свежий морской воздух, развивающий аппетит и поддерживающий легкое расположение духа.

Затем солнце стало склоняться к западу, пошло вечереть; с частного парохода порывами легкого ветерка доносилось отрывками стройное пение. Митрополит опять сидел у открытого окна рубки, а Брянчанинов дол-

го-долго глядел молча вдаль и вдруг, как бы забывшись, забредил стихами Пушкина, которых знал наизусть чрезвычайно много...

*В леса, в пустыни молчаливы  
Перенесу, тобою полн,  
Твои скалы, твои заливы,  
И плеск, и тень, и говор волн.*

Владыка и Аввакум не прервали его; поклонив головами, они его тихо слушали... Протодиакон Виктор стоял у косяка, опершись головою о локоть, и тоже слушал... Его простое внимание было своего рода «народная тропа» к могиле певца. Вечер густел. На беловатом летнем северном небе встала бледная луна; вдалеке слева, на финляндском берегу, заяц затопил листвой печку, и туман, как дымок, слегка пополз по гладкому озеру, а вправо, далеко-далеко, начал чуть зримо обозначаться над водой Коневец.

Митрополит взглянул на часы и сказал:

– Мы опоздали ко всеобщей.

– Мы сейчас споем ее здесь, владыко! – отозвался Виктор, и в одну минуту достал и подал где-то близко у него под рукою лежавшую эпитрахиль Брянчанинову. Отец Игнатий

сейчас же ее надел и громко, вслух благословил царство вездесущего бога под открытым куполом его нерукотворного храма...

Виктор читал и пел наизусть. Аввакум пел с ним. Митрополит стоял у окна с сложенными на груди руками и молился... Другие, кто попал на эту отпетую без книг вечерню, стали на колена, – некоторые плакали...

О чем и для чего? – ведает гот, кому угодно было, чтобы «благоухала эфирною душою роза» и чтобы душа находила порою отраду и счастье омыться слезою.

Это была не всенощная, не вечерня, а какое-то вольное соединение того и другого или, еще вернее сказать, – это был благоговейный порыв высоко настроивших себя душ, которому знаток богослужения Виктор вдруг сымпровизировал молитвенную форму.

На пароходе было небольшое число взятых с собою митрополитом певчих, но их не позвали. Они бы, выстроившись с регентом, не так тепло воспели «славу в вышних Богу», как спели ее втроем «китаец», Виктор и Брянчанинов...

К концу их молений пароход был завиден

с Коневца, и по волнам озера поплыл навстречу путникам приветный звон...

На частном пароходе, где плыли артисты, все было тихо: пароход держался близко к судну митрополита, и артисты – дамы и мужчины – стояли у борта и... тоже молились...

Те, кто помнят описанное путешествие, никогда не говорили об этой минуте иначе, как с чувством живого восторга...

## Глава двенадцатая

Ночевали у Коневца. Митрополит и более высокие из лиц его свиты почивали в помещениях монастыря (тогда еще очень не обширных), а все прочие ночевали где пришлось на своих судах. Пассажиры частного парохода все остались на судне, которому, вдобавок, и вполне удобного места для стоянки не было, так как у пристани стали военные пароходы под митрополичьим флагом.

Да экипаж частного парохода так преисполнился деликатностию, что и сам сторонился от митрополичьих судов, и на другой день утром снялся от Коневца и ушел в море ранее казенных пароходов.



На Валаам артисты прибыли за час или за полтора ранее прихода эскадры митрополита. Над артистами здесь шутили, что они, вероятно, пошли вперед, чтобы известить иноков о приближении именитого гостя, или поспешили, чтобы занять под себя помещения, а свиту владыки оставить без крова. Но в самом деле это было не так: артисты действительно укрывались, чтобы не стеснять своим появлением лиц, положение и настроение которых не могло отвечать их положению и их настроению. Ими не руководили никакие другие соображения, кроме тонкой деликатности, столь много свойственной женщинам французской крови, которых было много в этой артистической компании, и они своим мягким влиянием давали тон всей группе. Они не хотели отказаться от возможности осмотреть Валаам, для чего выехали большою компанией после больших и довольно сложных сборов, но хотели сделать это как можно незаметнее для настигших их внезапно попутчиков, и для этого как можно скорее ступешаться и, если можно, совсем скрыться с их глаз.

На пароходе под митрополичьим флагом ими теперь тоже не занимались, потому что свежее впечатление, охватившее всех вчера в начале плавания, теперь уже притупело после ночи, не совсем удобно проведенной в концевецких помещениях; да и притом, в конце перехода к Валааму, с большою серьезностью надо было обдумать, что там надо посмотреть и что приспособить на случай предвиденной графом Протасовым возможности посещения острова государем.

Вообще настроение изменялось тут и там и не располагало более путешественников к шуткам.

На остров они прибыли, как я выше сказал, за час до парохода под митрополичьим флагом и застали тут совсем неблагоприятное для них положение: для них не было ни места, ни людей, которые бы имели время с ними заниматься, и если артисты съехались с митрополитом не случайно, а с расчетом видеть остров в минуты торжественной встречи высокого гостя, то этот расчет их выходил самым неудачным. Валаамская братия была более чем когда-нибудь усиленно погружена в

деятельность, которую можно было замечать далеко с моря. Прежде чем нога путника становилась на берег, он видел, что зеленые острова усеяны иноками и послушниками в их белых холщовых кафтанах и таких же колпачках, и все они, не покладая рук, «ворошили» и гребли свежее, скошенное сено.

При приближении частного парохода, они было остановились, опершись на свои вилы и грабли, но точно получили издали условный, побудительный знак и опять продолжали работать. Но зато, когда вслед затем в заливе показался митрополичий флаг и на колокольне раздался встречный звон, все эти «трудники» покидали на месте свои вилы и грабли и, бросив недокопненное сено в валах, бросились бегом к пристани, опережая друг друга, чтобы принять благословение и поцеловать руку любимого архипастыря.

Увидав эту картину – сбегających с гор иноков, артисты, остававшиеся до сих пор беспристанными, поняли, что им тут и ждать нечего, и, как не в пору пришедшие гости, они ушли в дальние части лесистого острова и, пробродивши ночь, уехали на другое утро

рано, когда братия еще молилась за заутреню в храме.

Впрочем, когда и как отплыли артисты, на это не обращали внимания и об этом и не говорили, потому что у каждого было много дела, а к тому же еще случился обративший на себя внимание необыкновенный случай: недокопненное вчера вечером сено было так и брошено в рядах на ночь, но утром оно оказалось все сгребено и сметано в копны...

Это было на виду у всех; никакой фальши или сомнения тут быть не могло: уснули – сено оставалось в валах, а когда встали – сено было в копнах...

Мало того, два брата-трудника, «производившие смолу» или гнавшие деготь из бересты (работа которых не могла быть прервана), робко и нерешительно рассказывали, что они, не спавши светлую ночью, видели, как из леса вышли некие «легкие естеством и препоясанные воздушного круга сеножати и начали метать сено». А братья-трудники, увидев таинственных сеножателей, отвернулись.

Они не знали, как им отнестись к появлению тех сеножателей, а когда настало утро, они

увидели, что появление это было не призрак, потому что сено оказалось убрано и сметано в копны.

И вот все пошли, все посмотрели и все удивлялись: сено было в копнах...

Иноки крестились и отходили. Рассказ двух братьев-трудников о «сеножатах» передавался из уст в уста и дошел до митрополита...

Высокопреосвященный Никанор выслушал об этом чудесном событии и улыбнулся. По-видимому, занятый настоящими целями своего приезда, он не расположен был придавать особенного значения происшествию с сеном, но некто из «птенцов Андрея», много писавший под диктовку своего учителя,[35] изложил в тоне своего учителя и представил митрополиту проект записи «дивного события о сеножатах...»

Владыка отверг эту литературу, а когда другие, желавшие поддержать «птенца», попробовали представить соображения, что событие о «сеножатах» не малозначуще, и что оно, без сомнения, находится в связи с значением, какое имеет посещение острова митрополитом, то преосвященный рассердился.

Запись «о сеножатех», сделанная птенцом муравьевского гнезда, так и осталась без санкции владыки и никуда не могла быть занесена, а только списана «для себя» теми, которых рассказанное таинственное событие особенно поражало и которым описание, сделанное ему муравьевским слогом, особенно нравилось.

## Глава тринадцатая

К тому же, как приезд митрополита был легок и весел, так возвращение его вышло неблагоприятно. Он распределил свое время когда ему угодно было вернуться, и в тот самый день, когда хотел, тогда и отплыл. А между тем на заре, перед восходом солнца, в этот день по воде озера, щурясь, мигали, то расширяясь, то суживаясь, маленькие кружочки. Это называют, будто «кот плакав», и считают за предвестие к буре; и в самом деле поднялась буря, пошла бросать пароход, и пришлось убрать поскорее флаги... На пароходе появилось много больных, и не было того, кто бы мог приготовить трапезу, потому что о. Сергей, чухонец, лежал пластом на палубе,

бледный как мел, и вопиял:

– Ой, моя мартонька!.. Вынимайте скорее с меня мою дусаньку.

Отец Виктор стоял над ним и уговаривал:

– Подожди умирать, – ты человек нужный.

Отец Аввакум был непоколебим, и то по особой причине.

Так приехали в Петербург все не в авантаже и прежде чем передавать о том, что и как учредили на Валааме, – все поспешили искать покоя и отдыха. Только одни строго-дисциплинированные «птенцы Андрея», ни минуты не упуская, явились донести ему о всем происшедшем и, конечно, изложили притом и историю «о сеножатах».

Андрею Николаевичу не понравилось, что такое достопримечательное событие могло произойти в его небытность.

Непосредственную связь между приездом на остров высокопреосвященного Никанора и появлением «сеножателей» Андрей Николаевич отвергал.

По его мнению, событие могло быть всегда, но оно действительно заслуживает внимания и исследования, а не такой «пустора-

машки».

Из этого был вывод тот, что при митрополите не было надлежащих людей, которые бы знали, что надо делать, и – главное – которые сумели бы «бесстрашно настоять на том, что должно».

– Завтра я ему против этого пропишу, – решил Андрей Николаевич и назначил себе на случай сего писания завтра «дежурного генерального писаря».

В назначенный день и час писарь сидел на месте и выводил быстролетным пером, что изрекал, быстро летая в своем бедуинском плаще, Муравьев.

Смысл писанья был тот, «что нельзя отрицать...» что «испытывать надо»: но тут вдруг совсем некстати доложили, что пришел актер Мартынов и непременно просит его принять.

Андрей Николаевич изумился и пошутил:

– Свят, свят, свят! Зачем ко мне «Филатка и Мирошка»? Не ошибся ли он дверью?

– Никак нет, – он к вам, ваше превосходительство.

– Час от часу не легче! Но кое же общение тьме со светом? Впустите его.



Впустили.

Иван Евстафьевич вошел и удивил еще более, объявив Муравьеву, что он желает говорить с ним с глазу на глаз и не может говорить при постороннем.

– Но это мой близкий человек, – отвечал Муравьев, указывая на секретаря.

– Все равно, я не могу ни при ком. Муравьев пожал плечами и сказал:

– Выйди на минутку.

А когда тот выходил, он добавил:

– Не вздумал ли он и здесь разыграть своего «Филатку и Мирошку»?

## Глава четырнадцатая

Но игры не было. Набожный, как большинство русских актеров, Мартынов пришел к Муравьеву с испугом и за самым серьезным содействием.

Утром на репетиции он слышал от Максимова о бывшем на Валааме «чуде о сеножатах», которому будто Муравьев желает составить описание, как предвещательному к войне событию, – ибо были будто те сеножати не люди, но духи, а между тем...

Мартынов остановился.

Муравьев его поддержал:

– Договаривайте – я Муравьев.

– Извольте, – заключил Мартынов: – я договорю: здесь ничего худого нет и никакого дурного умысла не было, а сено убрали мы.

– Как это вы?

– Мы, наша компания, – артистки и артисты... Мы ходили, бродили по острову в ожидании дня... пришли на место, где оставалось сено, и вилы, и грабли... Одна французская актриса взяла грабли и говорит: «давайте уберем за этих бедных старичков», и все стали

греть и копнить, и скопнили. Но теперь мне – как православному – это очень неприятно, и я пришел просить вас разъяснить это кому нужно и не допустить до ложных толкований.

– Благодарю, – произнес Муравьев и снисходительно протянул Мартынову руку, а бумагу, написанную ранее под диктовку, разорвал и поехал в лавру, где Аввакум видел его при вхождении и при выхождении от митрополита «в позе громадной».

Он одержал верх над всеми своими недоброжелателями и показал, что таких людей, как он, нельзя манкировать, потому что до них и отовсюду и всеми путями доходят обо всем известия.

И Аввакум, и Виктор, и Ласский с Навроцким должны были уступить и помолчать.

Это было летом в поздний сенокос 1852 года, и сочтено было за «предвестие войны», которой нигде не было на горизонте.

Андрей Николаевич очень эффектно разрушил это предсказание. Но не прошло года, как в мае 1853 года возник официально вопрос о «святых местах», и в Константинополь

был послан чрезвычайным послом князь Меншиков, а 14-го июня последовал высочайший манифест, которым повелевалось нашим войскам занять Дунайские княжества «с миролюбивыми целями»...

Муравьев вспомнил все это в некотором разговоре в Киеве, и сказал:

– Да, вот вам и разбирайте теперь – было ли это предвещательное «событие о сеножатах», а война была.

*Впервые опубликовано – журнал «Новь», 1885.*

# **Александрит Натуральный факт в МИСТИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ**

*В каждом из нас, окруженном мировыми тайнами, существует склонность к мистицизму, и одни из нас, при известном настроении, находят сокровенные тайны там, где другие, кружась в водовороте жизни, находят все ясным. Каждый листик, каждый кристалл напоминает нам о существовании в нас самих таинственной лаборатории.*

*Н. Пирогов*

## Глава первая

Я позволю себе сделать маленькое сообщение об одном причудливом кристалле, открытие которого в недрах русских гор связано с воспоминанием об усопшем государе Александре Николаевиче. Дело идет о красивом густо-зеленом драгоценном камне, который получил название «александрит» в честь покойного императора.

Поводом к усвоению этого имени названному минералу послужило то, что камень впервые найден 17 апреля 1834 г., в день совершеннолетия государя Александра II. Местонахождением александрита были уральские изумрудные копи, находящиеся в восьмидесяти пяти верстах от Екатеринбурга по речке Токовой, впадающей в Большую Ревть. Название «александрит» дал камню известный финляндский ученый минералог Норденшильд, именно потому, что камень найден им, г-м Норденшильдом, в день совершеннолетия покойного государя. Сказанной причины, я думаю, достаточно, чтобы никакой другой не разыскивать.

Как Норденшильд назвал вновь найденный кристалл «камнем Александра», так он и именуется по сие время. Что же касается до свойств его природы, то о них известно следующее:

«Александрит» (Alexandrit, Chrysoberil Sutorhone) есть видоизменение уральского хризоберила. Это минерал драгоценный. Цвет александрита – *темно-зеленый*, довольно сходный с цветом темного изумруда. При искусственном освещении камень этот теряет свою зеленую окраску и *переходит в малиновый цвет*.

«Самые лучшие кристаллы александрита были найдены на глубине трех сажень в Красноболотском прииске. Вставки из александрита очень редки, а безукоризненно хорошие кристаллы составляют величайшую редкость и не превышают весом одного карата.[36] Вследствие этого александрит в продаже не только весьма редок, но даже некоторые ювелиры знают о нем только понаслышке. Он почитается камнем Александра Второго».

Сведение это я выписал из книги Мих. Ив.

Пыляева, изданной с. – петербургским минералогическим обществом в 1877 г. под названием: «Драгоценные камни, их свойства, местонахождения и употребление».

К тому, что выписано из сочинения г. Пыляева о местонахождении александрита, надо прибавить, что редкость этого камня еще более увеличилась от двух причин: 1) от укореившегося между искателями камней поверья, что где обозначился александрит, там уже напрасно искать изумруда и 2) оттого, что копи, где доставали лучшие экземпляры камня Александра II, – *залило водою* прорвавшейся реки.

Таким образом прошу заметить, что александрит очень редко можно встретить у ювелиров русских, а иностранные ювелиры и гранильщики, как говорит М. И. Пыляев, «знают о нем только понаслышке».



## Глава вторая

После трагической и великоскорбной кончины усопшего государя, при котором прошли теплые, весенние дни людей нашей поры, многие из нас, по довольно распространенному в человеческом обществе обычаю, желали иметь о дорогом покойнике какие кто мог вещественные «памятки». Для этого разными читателями покойного государя избирались разнообразные вещи, впрочем, преимущественно такие, которые бы можно иметь всегда при себе.

Одни приобрели миниатюрные портреты покойного государя и вделывали их в свои бумажники или часовые медальоны, другие вырезывали на заветных вещах день его рождения и день его кончины; третьи делали еще что-нибудь в этом роде; а немногие—кому позволяли средства и кому представился случай—приобретали вставки из камня Александра Второго. Из них или с ними устраивали перстни, чтобы носить и не снимать эту памятку с руки.

Перстни с александритом были из самых

любимых и притом из самых редких и, может быть, из самых характерных памятков, и кто добыл для себя таковую, тот уже с нею не расставался.

Колец с александритом, однако, никогда не было много, ибо, как справедливо сказано у г. Пыляева, хорошие вставки из александрита и редки, и дороги. А потому на первых порах были люди, которые прилагали чрезвычайно большие усилия, чтобы отыскать александрит, и часто не находили его ни за какие деньги. Рассказывали, будто это усиленное требование даже вызвало опыты подделывать александрит, но подделывать этот оригинальный камень оказалось невозможным. Всякая подделка непременно должна обнаружиться, так как «камень Александра Второго» обладает дихроизмом или светопеременностью. Опять прошу помнить, что александрит при дневном свете *зелен*, а при вечернем освещении он – *красен*.

Этого достичь никаким искусственным сплавом нельзя.

## Глава третья

**М**не досталось кольцо с александритом, прошедшее с руки одного из незабвенных людей царствования Александра Второго.

Я приобрел перстень самым простым способом – покупкою, после смерти того, кто носил эту вещь. Перстень перешел через руки рыночного торговца и достался мне. Он был мне впору, и я как надел его на руку, так с ним и остался.

Кольцо было сделано довольно затейно и идейно – с символизмом: камень покойного государя Александра Второго сидел не один, а его окружали два, чистой воды, брильянта. Они должны были представлять здесь собою два блестящие дела прошедшего царствования – освобождение крестьян и учреждение лучшего судопроизводства, которое сменило старую «черную неправду».

Хороший густоцветный александрит немного менее карата, а брильянты каждый только по полукарату. Это опять, очевидно, с тем, чтобы брильянты, изображающие дела, не закрывали собою главного скромного кам-

ня, который должен напоминать самое лицо благородного деятеля. Все это вделано в чистое, гладкое золото, без всякой пестроты и украшений, как делают англичане, чтобы перстень был дорогим воспоминанием, но чтобы от него «деньгами не пахло».

## Глава четвертая

Летом 1884 года мне привелось быть в Чехах. Имея беспокойную склонность увлекаться разными отраслями искусства, я там несколько заинтересовался местными ювелирными и гранильными работами.

Цветных камней в чешских землях не мало, но все они невысокого достоинства и вообще много уступают цейлонским и нашим сибирским. Исключение составляет один *чешский пироп*, или «огненный гранат», добываемый на «сухих полях» Мероница. Лучше его нет нигде граната.

У нас пироп был когда-то в почете и в старину высоко ценился, но теперь хорошего крупного чешского пироба в России почти невозможно найти ни у одного ювелира. Многие из них не имеют о нем и понятия. У

нас нынче встречается в дешевых ювелирных вещах или мутный, темный тирольский гранат, или «гранат водяник», но крупного огненного пироба с «сухих полей» Мероница нет. Все лучшие старинные экземпляры этого прекрасного, густоцветного камня, ограненные, большею частью, мелкогранною крейц-розетою, скуплены по ничтожным ценам иностранцами и вывезены за границу, а вновь находимые в Чехии хорошие пиробы прямо идут в Англию или в Америку. Там вкусы устойчивее, и англичане очень любят и ценят этот прекрасный камень с таинственным огнем, в нем заключенным («огонь в крови» – «Feuer in Blut»). Англичане и американцы, впрочем, вообще любят характерные камни, как, например, пироб или как «лунный камень», который при всяком освещении отливает только одним своим лунным светом. В их маленькой, но очень полезной брошюрке «Правила вежливости и приличий» есть даже указание на эти камни как на более достойные вкуса истинного джентельмена. О брильянтах там сказано, что их «может носить всякий, у кого есть деньги». В Рос-

сии на это другой взгляд: ни символики, ни красоты, ни загадочности удивительных цветов камня у нас нынче не уважают и «запах денег» скрывать не желают. У нас, напротив, ценят только то, «что принимается в ломбард». Оттого так называемые любительские камни и не идут к нам, и они нашим нынешним охотникам до драгоценностей неизвестны. Им даже, может быть, показалось бы удивительно и невероятно, что прелестный экземпляр огненного граната считается одним из лучших украшений австрийской короны и стоит ужасной цены.

## Глава пятая

Едучи за границу, я, между прочим, имел поручение от одного петербургского приятеля привезти ему из Богемии два лучшие граната, какие только можно будет найти у чехов.

Я и отыскал два камня изрядной величины и хорошего цвета; но один из них, наиболее приятный по своему тону, к досаде моей, был испорчен очень несовершенной, грубой огранкой. Он имел форму брильянта, но верхняя его площадка была как-то неуклюже, прямолинейно срезана, и оттого камень не имел ни глубины, ни блеска.

Руководивший меня в выборе чех, однако, посоветовал мне купить этот гранат и потом отдать его перегранить одному известному местному гранильщику, по имени Венцелю, которого поводырь мой называл величайшим мастером своего дела и притом большим оригиналом.

— Это артист, а не ремесленник, — говорил чех, и рассказал мне, что старый Венцель — кабалист и мистик, а также отчасти востор-

женный поэт и большой суевер, но человек преоригинальный и подчас даже прелюбопытный.

– Вы недаром с ним познакомитесь, – говорил мой приятель. – Камень для дедушки Венцеля представляет не бездушное, а одушевленное существо. Он чувствует в нем отблеск таинственной жизни горных духов и, – прошу вас не смеяться, – он входит с ними через камень в какие-то таинственные сношения. Иногда он рассказывает кое-что о полученных откровениях, и слова его заставляют многих думать, что у бедного старика уже не все исправно под черепом. Он уже очень стар и капризен. Сам он теперь редко принимается за работу, работают у него два его сына, но если его попросить и если ему камень понравится, то он его сделает сам. А уж если он сам сделает, то это будет превосходно, потому что, повторяю, сам Венцель – великий и притом вдохновенный артист своего дела. Мы с ним давно знакомы и вместе пьем пиво у Едличка. Я его попрошу, и надеюсь, что он исправит вам камень. Тогда это будет у вас прекрасная покупка, которою вы как нельзя более угоди-



те тому, кто вас просил о ней.

Я послушался и купил гранат, а затем мы тотчас же понесли его к старому Венцелю.

## Глава шестая

Старик жил в одной из мрачных, узких и тесно застроенных улиц жидовского предместья, недалеко от известной исторической синагоги.

Гранильщик был высокий, худой старик, немного сторбленный, с совершенно белыми длинными волосами и с быстрыми карими глазами, взгляд которых выражал большую сосредоточенность с оттенком чего-то такого, что замечается у больных людей, одержимых горделивым помешательством. Согнутый в хребте, он держал голову вверх и смотрел как король. Актер, глядя на Венцеля, мог бы превосходно загримироваться Лиром.

Венцель осмотрел купленный мною пироп и кивнул головою. По этому движению и по выражению лица старика надлежало понять, что он нашел камень хорошим, но, кроме того, старый Венцель повел дело так, что с этой же первой минуты, хотя все шло у нас о пиро-

пе, но, собственно, главный интерес у меня сосредоточился на самом гранильщике.

Он долго-долго смотрел камень, чавкал беззубыми челюстями и одобрительно мне кивал; потом мял пироп между двумя пальцами, а сам глядел прямо и остро в глаза мне и морщился, морщился, точно съел зеленую скорлупу ореха, и вдруг объявил:

– Да, это он.

– Хороший пироп?

Вместо прямого ответа Венцель проговорил, что он этот камень «давно знает».

Я очень удачно мог вообразить себя перед Лиром и отвечал:

– Я этим безмерно счастлив, господин Венцель.

Почтительность моя старику понравилась, и он показал мне место на скамейке, а затем сам подошел ко мне так, что прижал своими коленами мои колена, и заговорил:

– Мы с ним знакомы давно... Я видел его еще на его родине, на сухих полях Мероница. Он тогда был в своей первозданной простоте, но я его чувствовал... И кто мог мне сказать, что его постигнет его ужасная участь? О, вы

можете видеть по нем, как духи гор предусмотрительны и зорки! Его купил разбойник-шваб и швабу дал его гранить. Шваб может хорошо продавать камень, потому что он имеет каменное сердце; но гранить шваб не может. Шваб – насильник, он все хочет по-своему. Он не советуется с камнем – чем тот может быть, да чешский пироп и горд для того, чтобы отвечать швабу. Нет, он разговаривать с швабом не станет. Нет, в нем и в чехе один дух. Шваб из него не сделает того, что ему вздумается. Вот они захотели сделать его крейц-розетою, вы это видите (я ничего не видел), но он им на это не дался. О да, – он пироп! он схитрил, он лучше позволил им, чтобы швабы ему отрезали голову, и они ему ее отрезали.

– Ну да, – перебил я: – значит, он погиб.

– Погиб! отчего?

– Вы сами сказали, что у него отрезали голову.

Дедушка Венцель сожалительно улыбнулся:

– Голова! Да, голова – важная штука, господин, но дух... дух еще важнее головы. Мало ли

голов отрезали чехам, а они все живы. Он сделал все, что мог сделать, когда попал варвару в руки. Поступи шваб таким подлым образом с каким-нибудь животным, с каким-нибудь жемчугом или с каким-нибудь «кошачьим глазом», который нынче пошел в моду, – и от них не осталось бы ничего. Из них вышла бы какая-нибудь пошлая пуговица, которую осталось бы только выбросить. Но чех не таков, его не скоро столчешь в швабской ступе! У пиропов закаленная кровь... Он знал, что ему надо делать. Он притворился, как чех под швабом, он отдал свою голову, а свой огонь спрятал в сердце... Да, господин, да! Вы огня не видите? Нет! А я его вижу: вон он густой, неугасимый огонь чешской горы... Он жив и... – вы его извините, господин, – он над вами смеется.

Старый Венцель сам засмеялся и закачал головою.

## Глава седьмая

Я стоял перед этим стариком, который держал в руке мой камешек, и решительно не знал, что ему отвечать на его капризные и малопонятные речи. И он, кажется, понял мои затруднения: он взял меня за руку, а другою захватил концами пинцета пироп, поднял его в двух пальцах вверх перед своим лицом и продолжал повышенным тоном:

– Он сам чешский князь, он первозданный рыцарь Мероница! Он знал, как уйти от невежд: он у них на глазах переделался трубочистом. Да, да, я видел его; я видел, как барышник-жид возил его в своем кармане, барышник и выбирал по нем другие камни.[37] Но он не для того горел на первозданном огне, чтобы тереться уродом в кожаной мошне барышника. Ему надоело ходить трубочистом, и он пришел ко мне за светлой одеждой. О! мы понимаем друг друга, и принц Мероницких гор явится принцем. Оставьте его у меня, господин. Мы с ним поживем, мы с ним посоветуемся – и принц будет принцем.

С этим Венцель довольно непочтительно

кивнул мне головою и еще непочтительнее бросил первозданного рыцаря на очень грязную, засиженную мухами тарелку, на которой валялось несколько совершенно схожих на вид гранатов.

Мне это не понравилось, и я даже просто побоялся, что мой пироп перемешается с другими, худшими.

Венцель это заметил и наморщил лоб.

– Пойдите! – сказал он и, смешав рукою все гранаты в тарелке, неожиданно бросил их все в мою шляпу, а потом потряс ее и, опустив в нее, не глядя, свою руку, как раз вынул «тубочиста».

– Хотите это сто раз повторить или довольно, довольно одного раза?

Он чувствовал и различал камень по плотности.

– Довольно, – отвечал я.

Венцель опять бросил камень в тарелку и еще горделивее кивнул головою.

Мы на этом расстались.

## Глава восьмая

Во всех словах и в самой фигуре старого гра-  
внильщика было столько прихотливого и  
особенного, что его трудно было считать нор-  
мальным человеком, и, во всяком случае, от  
него веяло сагой.

– Вот, – думалось мне, – если бы такого ори-  
гинального знатока камней повстречал в  
свое время такой великий любитель само-  
цветных лалов, как Иван Грозный! Вот бы с  
кем он всласть поговорил и, может быть, сам  
бы его затравил самым лучшим медведем. Те-  
перь Венцель уже не ко времени птица и не к  
масти козырь. В любом ломбарде сидят знато-  
ки, которые, наверное, должны относиться к  
нему по крайней мере с таким же презрени-  
ем, с каким он к ним относится. Что он мне  
наговорил о каком-то двадцатирублевом кам-  
не!.. Чешский принц, первоизданный князь, и  
потом сам швырнул его на грязную тарелку...

– Нет, – он сумасшедший.

А Венцель, как назло, не выходил у меня  
из головы, да и только. Даже он стал мне  
сниться. Мы с ним все лазили по Мерониц-

ким горам и чего-то скрывались от швабов. Поля были не только сухи, но жарки, и Венцель то здесь, то там припадал к земле, прикладывая ладони к пыльному щебню и шептал мне: «Пробуй! пробуй, как горячо!.. Как они там пылают! Нет, нигде нет таких камней!»

И под наитием всего этого купленный мною гранат в самом деле стал мне казаться чем-то оживленным «от первозданных огней». Чуть я оставался один, мне тотчас начинали припоминаться в детстве читанное путешествие Марко Поло и родные сказанья новгородцев «о камнях драгих, ко многим делам угодных». Вспоминалось, как бывало читаешь и удивляешься, что «гранат веселит сердце человеческое и кручину отдаляет и кто его при себе носит, у того речь и смысл исправляет и к людям прилюбливает». Позже все это потеряло значение, на все эти сказания мы стали смотреть как на пустое суеверие, стали сомневаться, что «алмаз смягчить можно, помочив его в крови козлей», что алмаз «лихие сны отгоняет», а если к носящему его «окорм приблизить, то он потети зачнет»;



что «яхонт сердце крепит, лал счастье множит, лазорь болезни унимает, изумруд очи удоровляет; бирюза от падения с коня бережет, бечет нехорошую мысль отжигает, тумпаз кипение воды прекращает, агат непорочность девиц бережет, а безоар-камень всякий яд погашает». А вот попался старик с густым бредом, и я сам с ним снова готов бредить.

## Глава девятая

Спишь, а все это снится... И как славно, как это все густо, и жизненно, хотя и знаешь, что это вздор. Не вздор – это то, что знает оценщик камней в ломбарде. О да, то не вздор. То оценка... то факт...

Да, но ведь и это было в свое время фактом... Ведь патриарх Никон факт писал царю Алексею, когда жаловался на своих лиходеев. Совсем хотели его извести и злым окормом его насмерть окормили, да был патриарх запаслив – он при себе «безуй-камень» имел и «безуем отсосался». Долго он лизал безуй-камень, который был у него в напалке вправлен, но зато ему помоглось, а лиходеи его пострадали. Правда, что все это было в старину,

когда и камни в недрах земли, и планеты в выси небесной – все были озабочены судьбой человека, а не нынче, когда и в небесах горе, и под землею – все охладело к судьбе сынов человеческих и несть им оттуда ни гласа, ни послушания. Все вновь открытые планеты уже не получили никаких должностей для гороскопов; много есть и новых камней, и все они смиренны, свешены, сравнены по удельной тяжести и плотности и затем ничего они не вещают, ни от чего не пользуют. Прошел их черед говорить с человеком, и они теперь то же, что «вития много-вещанные», которые сделались «яко рыбы безгласные». И старый Венцель, конечно, дурит, повторяя какие-нибудь старые сказки, которые у него перепутались в ослабевшем мозгу.

Но как же он меня мучил, этот сумасбродный старик! Сколько раз я заходил к нему, а мой пироп не только был еще не готов, но Венцель за него даже и не принимался. Мой «первозданный принц» валялся «трубочистом» на тарелке, в самом низком и малодостойном его товариществе.

Если хоть каплю, но искренно суеверить,

что в этом камне живет какой-то горный, гордый дух, который мыслит и чувствует, то обращаться с ним таким непочтительным образом тоже есть варварство.

## Глава десятая

Венцель меня уже не интересовал, а сердил. Он ни на что не отвечал толком, и порою мне в нем сказывался даже нахал. На самые вежливые мои замечания, что я слишком долго жду маленького поворота его шлифовального колеса, он меланхолически чистил свои гнилые зубы и начинал рассуждать, что за вещь *колесо* и сколько есть разнообразных колес на свете. Колесо при мужичьей мельнице, колесо в мужичьей телеге, колесо в вагоне, колесо в легкой венской коляске, часовое колесо до Брегета и часовое колесо после Брегета, колесо в часах Дениса Блонделя и колесо в часах Луи Одемара... Словом, черт знает, что за рацею разведет, а конец тот, что каретную ось легче выковать, чем огранить камень, а потому: «ждите, славянин».

Я потерял терпение и попросил Венцеля вернуть мне назад мой камень, каким он

есть, но в ответ на это старик заговорил ласково:

– Ну, как это можно? зачем делать такие капризы?

Я признался, что мне это надоело.

– Ага, – отвечал Венцель: – а я думал, что вы уже сделались швабом и нарочно хотите оставить чешского князя трубочистом...

И Венцель захохотал, широко раскрыв рот, так что из него по всей комнате запахло хмелем и солодом.

Мне показалось, что старик в этот день выпил лишнюю кружку пильзенского пива.

Венцель даже стал мне рассказывать какую-то глупость, – будто он брал *его с собою гулять* на Винограды за Нуссельские сходы. Там они будто вместе сидели на сухой горе против Карлова тына, и *он* будто открыл, наконец, ему, Венцелю, всю свою историю «от первозданных дней», когда еще не только не родились ни Сократ, ни Платон, ни Аристотель, но не было содомского греха и содомского пожара, – вплоть до самого того часа, как он выполз на стену клопом и посмеялся над бабой...

Венцель будто вспомнил что-то очень смешное, снова расхохотался и опять наполнил комнату запахом солода и хмеля.

– Довольно, дедушка Венцель, я ничего не понимаю.

– Это очень странно! – заметил он с недоверием и рассказал, что бывали случаи, когда превосходные пироги находили просто в избушечной обмазке стен. Богатство камней было так велико, что они валялись поверх земли и попадали с глиной в штукатурку.

Венцель, вероятно, имел все это в голове, когда сидел в садике пивницы при Нуссельских сходах, и унес это с собою на сухую гору, на которой глубоко и мирно уснул и видел прелюбопытный сон: он видел бедную чешскую избу в горах Мероница, в избушке сидела молодая крестьянка и пряла руками козью шерсть, а ногою качала колыбель, которая при каждом движении тихонько толкала в стенку. Штукатурка тихо шелушилась и опала пылью и... *«он пробудился!»* То есть пробудился не Венцель и не дитя в колыбели, а он – первозданный рыцарь, замазанный в штукатурку... Он пробудился и выглянул на-

ружу, чтобы полюбоваться лучшим зрелищем, какое бывает на свете, – молодой матерью, которая прядет шерсть и качает своего ребенка... Мать-чешка увидела на свете гранат и подумала: «вот клоп», и чтобы гадкое насекомое не кусало ее ребенка, она ударила его со всей силы своей старой туфлей. Он выпал из глины и покатился на землю; а она увидела, что это камень, и продала его швабу за горсть гороховых зерен. Все это было тогда, когда зерно пироба стоило одну горсть гороха. Это было раньше, чем случилось то, что описано в чудесах св. Николая, когда пироб проглотила рыба, которая досталась бедной женщине, и ту обогатила эта находка...

– Дедушка Венцель! – сказал я: – извините меня – вы говорите очень любопытные вещи, но мне недосужно их слушать. Я послезавтра утром рано уеду, и потому завтра приду к вам в последний раз, чтобы получить мой камень.

– Прекрасно, прекрасно! – отвечал Венцель. – Приходите завтра в сумерки, когда станут зажигать огни: трубочист встретит вас принцем.

## Глава одиннадцатая

Я пришел как раз в назначенное время, когда зажгли свечи, и на этот раз мой пироп действительно был готов. «Трубочист» в нем исчез, и камень поглощал и извергал из себя пуки густого, темного огня. Венцель на какую-то незаметную линию снял края верхней площадки пиропа, и середина его поднялась капюшоном. Гранат принял в себя свет и заиграл: в нем в самом деле горела в огне очарованная капля несгораемой крови.

– Что? каков витязь? – восклицал Венцель.

Я поистине не мог налюбоваться пиропом и хотел выразить Венцелю это, но, прежде чем я успел сказать хоть одно слово, мудреный старик выкинул неожиданную и престранную штуку: он вдруг схватил меня за кольцо с александритом, который теперь при огне был красен, и закричал:

– Сыны мои! чехи! Скорей! Смотрите, вот-вот тот *вещий русский камень*, о котором я вам говорил! Коварный сибиряк! он все был зелен, как надежда, а к вечеру облился кровью. От перевозданья он таков, но он все пря-

тался, лежал в земле и позволил найти себя только в день совершеннолетия царя Александра, когда пошел его искать в Сибирь большой колдун, волшебник, вейделота...

– Вы говорите пустяки, – перебил я. – Этот камень нашел не волшебник, а ученый – Норденшильд!

– Колдун! Я говорю вам – колдун, – закричал громко Венцель. – Смотрите, что это за камень! в нем зеленое утро и кровавый вечер... Это судьба, это судьба благородного царя Александра!

И старый Венцель отвернулся к стене, опер голову на локоть и... заплакал.

Сыновья его стояли молча. Не только для них, но и для меня, который так давно видал постоянно на своей руке «камень Александра Второго», камень этот будто вдруг исполнился глубокою вещей тайной, и сердце сжалось тоскою.

Как хотите – старик увидал и прочел в камне что-то такое, что в нем как будто и было, но что прежде до него никому в глаза не бросалось.

Вот что иногда значит посмотреть на вещь



под необыкновенным настроением фантазии!

*Впервые опубликовано – журнал  
«Новь», 1884.*

# Загадочное происшествие в сумасшедшем доме (Извлечено из бумаг Е. В. Пеликана) (1858–1878)

## Глава первая

В нынешнее время часто доводится слышать сильное негодование, если какое-нибудь из ряда выходящее происшествие останется без скорого и удовлетворительного разъяснения его причин. Это сейчас же ставится в вину порядкам нового судопроизводства и еще чаще в вину тем людям, которые нынче производят следствия, и тем, которые совершают суд по законам императора Александра II. Думают, – и таких людей не мало, – что ранее, т. е. до введения новых судов, дела будто бы шли лучше, т. е. скорее, строже и справедливее. Такое мнение не только существует в темном простонародье, но оно даже без стеснения высказывается и в известных органах

периодической печати, руководимых образованными людьми. Последнее, в свою очередь, раздражает и сердит людей, сохранивших верное воспоминание о прежнем следственном и судебном процессе. Это раздражение понятно, но гнев все-таки неуместен. Напротив, кажется, надо радоваться, что если уже есть в обществе такое странное мнение, то пусть оно не таится, а находит себе свободное выражение в печати. Печать лучше, чем что-либо иное может послужить сверке и оценке всяких мнений – как ошибочных, так и обстоятельных.

Одним из лучших способов для этого служат сравнения, которых много можно привести из так называемых «памятей» о делах «доброе старое времени».

Разумею не то настоящее «старое время», каким почитается в нашей истории до-Петровский период, а собственно время, предшествовавшее введению судебной реформы, которое нынче часто тоже называют «старым».

Любопытные сборники Любавского не богаты материалом для истории о делах угасших. Очень может быть – там нет никаких

дел, потому что во время составления сборников Любавского никому из наших русских современников еще не приходило на мысль искать идеала правосудия в старинном судебном порядке, не предвиделось и того, что скоро может представиться надобность доказывать несостоятельность следственного процесса в дореформенное время. Иначе, вероятно, в уголовных сборниках нашли бы место образцы, которые способны каждого удивить и поразить своею оригинальностью и маловероятностью. Таких дел особенно много по группе убийства помещиков крепостными людьми и обратно, и не менее их еще, например, по истреблению казенных лесов. В ранней моей молодости я помню, как в Орле, кажется, около четырнадцати лет, производилось дело о вырубке казенного леса в Карачевском или в Трубчевском уезде. В этом преступлении и грабеже казны на огромную по тогдашнему, сумму подозревался и изобличался местный лесничий по фамилии Красовский, — человек уже очень старый, набожный и постник, джентльмен, с совершенно белой головою, всегда тщательно выбритый и при-

чесанный.

Я помню, когда его водили из острога с двумя часовыми мимо так называемого губернаторского сада, где я играл во дни моего детства.

Красовский ходил с часовыми очень спокойно, ласково улыбался знакомым и почему-то *благословлял детей!*.. Он жил в орловском остроге более десяти лет, и жил настоящим тюремным аборигеном или даже патриархом. Когда в Орле была впервые прочтена «Крошка Дорит», то многие говорили, что старый отец маленькой Дорит, живущий в тюрьме и там лицемерствующий, точно будто списан Диккенсом с орловского острожного патриарха – Красовского.

Красовский, так же как и герой Диккенса, получил вес и значение в тюрьме; он славился своим благочестием и скупостию; имел нравственное влияние на заключенных и на охранителей, и довел двух прислуживавших ему арестантов из простонародья до того, что они сделали покушение задушить его за скупость, и за то наказаны плетьюми и сосланы в каторгу.

Так из-за Красовского, во время его долголетней жизни в орловском остроге, возникали новые дела, а его собственное дело об истреблении вверенных ему казенных лесов все тянулось. На нем, так сказать, воспитывались целые поколения палатских юристов (выписку из него при представлении в сенат делал сын следователя, начавшего следствие), и за всем тем хищническое дело это так и осталось нераскрытым. Кто срубил тысячи десятин казенного леса и куда ушли деньги, за них вырученные, — это так и не обнаружено. Красовский притворялся бедным, или в самом деле ничего не имел, — это так и не открыто. Только он никому никаких взяток не платил и в остроге промышлял ростовщичеством, давая под залоги от двугривенного до рубля из десяти процентов в неделю. За это его и хотели задушить. Наконец, после двенадцатилетнего содержания в тюрьме, Красовского выпустили, но он еще не хотел идти из тюрьмы, говорил, что ему негде жить и нечем жить. Так он «прижился в тюрьме» и так мало значила в его глазах драгоценная каждому живущему свобода.

В Орле, назад тому сорок лет, все от мала до велика были поражены, что столь всем очевидное преступление Красовского не раскрылось. Но это так и кончено.

Однако, не станем удивляться и на это: убийство господ и крестьян, равно как и истребление лесов происходили на широких пространствах, где не было особых наблюдений и не было так называемой локализации преступления. А встречались случаи гораздо более удивительные, когда дело совершалось, например, в доме, окруженном самым тщательным присмотром, где все было, так сказать, «как в горсти», а между тем уходило из горсти, и не могли добраться до виноватого.

Одно из таких дел, интересных не только в судебном, но и в научном отношении, представляет некоторый воронежский случай, заметки о котором попались мне в бумагах покойного председателя медицинского совета, Евгения Венцеславовича Пеликана.

Вот это дело.

## Глава вторая

В шесть часов утра мглистого, морозного дня, 27 января 1853 года, на женской половине сумасшедшего дома в Воронеже прозвонил звонок, «возвещавший время топки печей». Таков был ежедневный порядок в заведении во все то время, когда здание отапливалось печами.

Звонок этот разбудил в числе прочих служительниц одну, по имени Кирсанову, которая ночевала при умалишенных в коридоре между комнатами №№ 6 и 10.

Кирсанова встала и удивилась, что ее сегодня первый раз не разбудила раньше звонка одна из помещанных – молодая, крепкая женщина, по имени Елена Швидчикова (по фамилии судя, вероятно малороссиянка).

Названная больная имела пироманические наклонности и очень любила топить печи. Так как это было совершенно безвредно и притом облегчало труд служительницы, то Швидчиковой было дозволено топить печи, и она, дорожа таким удовольствием, имела привычку вставать очень рано. До звонка она



будила Кирсанову и помогала ей при топке, но... сегодня вдруг Швидчикова первый раз проспала.

Служанка подивилась, однако не стала беспокоить Елену, а сама затопила все печи, но потом подумала:

«Что же это, однако, значит, что Елена не встает о сю пору?»

Служанке пришло на мысль, не случился ли какой грех, – и не напрасно.

Когда Кирсанова вошла в комнату, где, в числе трех больных, спала Швидчикова, она не заметила здесь ни малейшего беспорядка. Все было тихо, и все помещавшиеся здесь три женщины в самом спокойном положении лежали, закрывшись одеялами, на своих койках.

Служанка подошла прямо к своей добровольной помощнице, Елене Швидчиковой, и сначала позвала ее по имени. Елена не откликнулась. Тогда Кирсанова хотела ее побудить рукою, но едва лишь дотронулась до нее, как упала от страха на пол и потеряла сознание.

Елена Швидчикова была мертва.

## Глава третья

Придя в себя, перепуганная служанка вскочила на ноги и бросилась к другой соседней койке, на которой спала умопомешанная Фиона Курдюкова (28 лет), но, к ужасу служанки, Фиона тоже была мертва... Служанка с страшным воплем кинулась к третьей больной, молодой девушке (18 лет), по имени Прасковье Снегиревой, и закричала ей во весь голос:

– Паша! Пашенька! – встань, помоги!

Но Пашенька тоже не вставала и не трогалась, а когда Кирсанова, вся дрожа как лист, коснулась рукою до тела этой девушки, то поняла, что и здесь все зовы на помощь напрасны, потому что и молоденькая Паша тоже мертва...

Неожиданно, разом три покойницы, на трех сряду стоящих койках, при сером сумраке январского утра и ходячих тенях от дрожащего пламени только что растопленных печей, – это, как хотите, картина, способная произвести сильное и беспокойное впечатление даже и на больничную сиделку.

Кирсанова бросила мертвых и, не помня себя от перепуга, кинулась бежать к надзирательнице, г-же Азаровой.

Азарова встревожилась, – прибежала еще с другими служительницами заведения и удостоверилась, что все три помешанные, спавшие в комнате № 10, действительно недвижны, бездыханны и холодны. Азарова и другие бывшие с нею прислужницы, в тревоге, бросились, посмотреть – все ли благополучно в прочих покоях, и нашли не везде все в полном благополучии. А именно, когда они вошли в небольшую комнату № 6, отделявшуюся от № 10 лестницею, то здесь опять обрели роковую тишину и еще двух новых покойниц: Прасковью Воронину и Ирину Деревенскую.

Эти женщины спали вдвоем в комнате № 6, каждая на своей койке, и так обе и найдены мертвыми на своих же койках, без малейших знаков насилия, в спальных чепцах и одетые байковыми одеялами.

Послали за фельдшером Варламом Ивановичем, чтобы он шел как можно скорее – подать какую-нибудь помощь, или – как нынче

красиво говорят—«констатировать смерть». Фельдшер пришел, посмотрел и объявил, что никакая помощь уже невозможна, — что все пять женщин несомненно умерли.

Пять скоропостижно умерших вдруг, от неизвестной причины и в строго охраняемом месте... Что за происшествие!

Первое, разумеется, что могло прийти в голову при подобном случае, — это *угар*, но об угаре не могло быть и речи, потому что, во-первых, печи в заведении топились с утра, а все пять умерших легли спать вечером здоровыми, да во-вторых же, — другие больные, соседки по комнатам тех, которые умерли, были живы и здоровы, меж тем как их комнаты согревались теми самыми печами и вообще находились вполне в одинаковых атмосферных условиях.

## Глава четвертая

**Н**адзирательница и фельдшер тотчас же дали знать о страшном и загадочном происшествии смотрителю заведения, майору Колиньи; тот удостоверился самоличным видением, что пять женщин умерли, и сейчас же донес об этом губернатору.

Губернатор не медлил распоряжениями, и в 11 1/2 часов того же 27 января 1853 года в сумасшедший дом прибыли инспектор врачебной палаты Шарков, старший доктор Погорский и полицмейстер города Воронежа г. Федоров. Они сделали осмотр и написали акт, из которого берем следующие подлинные места:

Первая осмотрена Курдюкова. Ей 28 лет, телосложения крепкого, найдена на постели в рубашке, в чулках и в чепце на голове. Она покрыта байковым одеялом, лежала на спине в прямом положении, с головою, несколько наклоненною на правую сторону, и с руками, расположенными по бокам тела (как велят спать благовоспитанным девушкам в пансионах). Руки в суставах от оцепенения найдены малоподвижными; лицо несколько вздуто,

правая щека покрыта красноватыми пятнами, а левая натурального трупного цвета; живот вздут и мягок при осязании; бедра и икры, преимущественно на задней поверхности, а равно спина, поясница и зашеек оказались при осмотре темно-красного цвета; глаза закрыты, зрачки расширены; на голове над левою теменною костью найден струп красноватого цвета; другого рода повреждений на теле Курдюковой не было.

Вторая скоропостижно умершая сумасшедшая была Снегирева, девушка лет около 18-ти, телосложения крепкого. Она тоже найдена одетою – в рубашке, в чулках и в чепце, покрыта шерстяным байковым одеялом, лежала в постели на спине в прямом почти положении; правая рука протянута близ боку и в локте немного согнута, с приподнятою к лицу кистью. Пальцы рук полусжаты, конечности в суставах от оцепенения малоподвижны, вся спина от шеи и задняя поверхность бедер и обеих голеней найдены красного цвета; на лице темного же цвета пятна замечены, прочие части тела натурального трупного цвета; живот раздут, напряжен и твердоват. Левый

рукав рубашки найден замаранным в жидкости красноватого цвета (сукровицею, истекавшею из рта).

Третья – Елена Швидчикова (та самая, которая любила топить печи), около 30 лет, телосложения крепкого, одета в рубашке, в чулках, в чепце и покрыта байковым шерстяным одеялом. Она лежала в постели на спине в прямом положении, с наклоненною несколько головою на левую сторону, обе руки сложены вместе, на животе, с протянутыми пальцами. Конечности в суставе от оцепенения малоподвижны, вся спина, поясница и задняя поверхность бедер испещрена была красноватыми пятнами, лицо и прочие части тела трупного цвета; другого рода изменений на теле не оказалось; живот несколько раздут и твердоват, рот закрыт, зубы стиснуты, у левого глаза верхнего века недостает, отчего глазное яблоко открыто, истощенного вида от предшествовавшего болезненного состояния этого органа.

В таком положении найдены три скоропостижно умершие жилицы сумасшедшей камеры № 10-й.

У всех обнаружена краснота, пятна, взду-  
тости, но все лежат на своих постелях в чеп-  
цах и ни одна не сбросила с себя ни этого чеп-  
ца, ни одеяла, точно смерть ни одной из них  
не стоила ни малейшей муки. Пришло каж-  
дой «отложенное ее» – и они пошли за анге-  
лом смерти целой компанией «в путь всея  
земли».

История все становится удивительнее и  
непонятнее.

Теперь перейдем в маленький покой под  
№ 6-м, – где спали только две женщины, воз-  
растом постарше, и тоже обе умерли в това-  
рищеской компании.



## Глава пятая

Начинается опять то же самое.

Первая – Прасковья Воронина, крепкого сложения, 45 лет, найдена лежащею на постели в рубашке, в чулках и в неизбежном чепце. Она так же, как и жилицы № 10-го, покрыта байковым одеялом, лицом обернулась к стене и держала левую руку на животе, а правую на кровати протянутою к бедру; пальцы мало сжаты, живот твердоват. Спина, поясница и задняя поверхность бедер темно-красного цвета, лицо и прочие части тела обыкновенного трупного цвета. Другого рода изменений на теле никаких не найдено.

Ирина Деревенская, от роду лет около 50, телосложения посредственного, в рубашке, в чулках и в чепце; покрыта байковым шерстяным одеялом; конечности, как верхние, так и нижние, найдены в суставах оцепеневшими, живот вздутый и твердоват; поясница, спина и зашеек красного цвета, лицо и прочие части тела натурального трупного цвета.

Опять и здесь краснота и сукровица, – которые, конечно, совсем уже упраздняют вся-

кую необходимость рассуждать об угаре, да и самый акт, о котором мы говорим, на угаре не настаивает. Очевидно, воронежские чиновники с самого начала не сомневались, что причиной смерти пяти сумасшедших был не угар, а что-то иное... Но что же именно?

Любопытные вещи требуют часто большого терпения.

Последуем пока за осматривающими здание и посмотрим, какие сведения они соберут от служебного персонала.

При осмотре здания всего женского отделения умалишенных, оказалось: комнаты, в которых найдены мертвые, – сухи, и воздух в них чист. В каждой из тех комнат, равно и во всех других сего отделения, *топка печей устроена из коридора; отдушников в комнаты нет* по всему зданию. Комната № 10-й отделена от прочих; в ней одна голландская печь из простых изразцов и без отдушников в комнату. Топка этой печи устроена из коридора. Комната № 6-й (где найдено два мертвеца) отделена от предыдущей комнаты № 10-й (где три мертвеца) лестницею, которая ведет в нижний этаж; рядом же, только с другой сто-

роны этой комнаты, находится другая соседняя комната, обозначенная под № 7. Это, надо думать, был покой для больных особенно буйных, потому что здесь стены до двух третей вышины обиты войлоком, а поверх войлока крашенным холстом. Такие обивки в домах умалишенных делают только в таких покоех, где помещают людей, обнаруживающих большое раздражение, с мрачною склонностью вредить своему здоровью или самой жизни.

Комната эта нагревается одною и тою же голландскою печью, которая обогревает № 6-й, и эта печь точно такого же устройства, как и печь в комнате под № 10-м, т. е. они голландки и без отдушников.

В комнатах под №№ 10-м и 6-м, где найдены умершие, а равно на постелях и других покрывалах нет ни следов рвоты, ни других извержений. Стены комнат, а равно и самого коридора, выбелены мелом и не представляют никаких признаков, по которым можно бы заподозрить, что их скоблили или лизали языком.

Следовательно, отравление этим способом

тоже невозможно.

На кроватях, где лежали умершие, и вообще в комнатах, не найдено никаких посторонних вещей, кроме того, что принадлежало к устройству и инвентарю этих помещений. Белье на постелях и на умерших чистое. Солома в тюфяках, по объявлению надзирательницы Веры Азаровой, по всему отделению женского дома умалишенных переменена назад тому всего только семь дней и притом опять-таки солому не отбирали на отбор для тех пяти, которые умерли, а набивали ею все тюфяки из одной общей массы, а между тем умерли не все из находящихся в заведении, а только пятеро.

Что касается до порядков в доме, то смотритель майор Колиньи объявил, что печи, как в этом, так и в прочих зданиях, 26-го января были истоплены в пять часов утра и во второй раз в эти сутки топлены не были. В этом здании и по всему этому женскому отделению дома умалишенных нет ни кухонь, ни прачечной, ни других каких-либо служебных построек, откуда бы могли заходить дым, чад или какие-нибудь зловонные и миазматиче-

ские испарения.

Досмотр за больными был такой рачительный, что, по-видимому, желать лучшего невозможно.

Для примера достаточно проследить один день 26-го января, предшествовавший роковой ночи, когда пять сумасшедших неизвестно от чего умерли целой компанией.

В 26-е число января это отделение посещали, в 10 часов утра, старший доктор Погорский и младший ординатор Предтеченский, а пред их визитацией, в 8 часов утра, все здание осматривали эконоом Алексеев и помощник смотрителя Никитин.

Словом, досмотр со стороны начальства был во весь день до вечера и никаких упущений не указано.

Теперь начинается ближайшее время к роковой ночи, – вечер 26-го января.

## Глава шестая

Вечером 26-го января, в 10 часов, вторично обходил это отделение эконо́м Алексеев.

Вечер в таких домах кончается рано, в 8 часов здесь уже спят. А после того как больные легли спать, в 11 часов ночи, покои их обходил дежурный надзиратель по заведению, унтер-офицер Коноплев. Оба эти должностные лица, обойдя покои, явились к смотрителю майору Колиньи и доложили ему о совершенном благополучии того самого отделения, где к утру оказался такой неожиданный и такой несчастный случай.

Что же касается пяти скоропостижно умерших женщин, то они проводили день 26-го января вместе с прочими, находящимися в том же отделении, умопомешанными в числе 24; все они обедали за одним общим столом и употребляли одну, для всех без различия, приготовленную пищу.

Обед больных состоял из щей, сваренных с говядиной и с кислую капустою, из ржаного хлеба и кваса для питья. Пищу всем помешанным подавали в деревянных крашенных чаш-

ках, а ели они все деревянными ложками, с которых краска от давнего употребления сошла.

После обеда до вечера все были здоровы, и ни одна ни на что не жаловалась.

Вечером в шесть часов, больным подавался ужин, который был вполне повторением обеда, т. е. всем им за одним общим столом, в шесть часов, была подана та же самая пища, что и за обедом.

Кушанье для больных приготавливалось всегда в одной кухне и в одних котлах. Эти чугунные котлы были осмотрены и оказались в самом чистом виде. Следовательно, подозревать, что пять скоропостижно умерших отравились пищею, предложенною им заведением, тоже невозможно.

Оставалось обратить внимание, как эти несчастные проводили свой последний день и ночь каждая в отдельности. Но и это ничего особенного не представляло.

## Глава седьмая

После ужина всех призреваемых в вышеозначенном отделении, в 7 часов, положили спать. Каждая легла на своей койке. Точно так же легли спать и те пять женщин, которые ночью скоропостижно умерли. Они легли на тех самых постелях и в тех самых комнатах, в которых утром служанка Кирсанова нашла их мертвыми.

Двери в этих двух комнатах, точно так же, как и во всех прочих, были во всю ночь растворены настежь в коридор, где ночевала Кирсанова. Рядом с комнатой № 6-й, где найдено двое умерших, в комнате под № 7-м, нагреваемой тою же самою печью, которая обогревала № 6-й, ночевала умалишенная Авдотья Рубцова; а тотчас же за этой комнатой – в № 8-м, ночевали еще две другие умалишенные, Надежда Вихирева и Матрена Скобина, и все они остались живы и здоровы. Накануне загадочного события, т. е. 26 января, и при наступлении ночи, как умершие, так и прочие умалишенные, оставшиеся в живых, не жаловались ни на какие болезненные припадки.



После урочного времени (7 часов вечера), когда всех умалишенных уложили спать, с ними осталась ночевать дежурная служанка Федосья Кирсанова. Из лиц правоспособных она одна оставалась ближайшею свидетельницей, что здесь происходило в последующие ночные часы до утра, и с нее тотчас же сняли показание, записанное в акт.

Кирсанова объявила, что до трех часов все призреваемые спали спокойно без особых движений и не обнаруживали никакого беспокойства. В три же часа ночи одна из скоропостижно умерших – именно Елена Швидчикова, которая любила топить печи, – проснулась, разбудила двух других спавших с нею в одной комнате под № 10-м (Снегиреву и Курдюкову), а потом пошла в комнату № 6-й и там разбудила двух тамошних жилиц – Воронину и Деревенскую. Собрав эту компанию, Швидчикова попросила служанку Кирсанову провести их в ретирадное место. Служанка будто исполнила это беспрекословно, и все пять помешанных пошли с нею, куда им было нужно. Оттуда Кирсанова провела их обратно в их же комнаты, и при этом Кирсанова

заметила, что Швидчикову немного вырвало на пол. Больная спокойно попросила Кирсанову вытереть, и Кирсанова это исполнила.

После этого выхода и возвращения все пять скоропостижно умерших женщин, не тратя времени, тотчас же снова легли по своим койкам и уснули спокойно.

Ни одна из них не жаловалась ни на какую боль, да если бы у них что-нибудь болело, то они бы и не уснули.

Отчего же стошнило Швидчикову и не было ли у нее чего-нибудь такого вредоносного, чем бы она могла известить себя и своих соседей в то короткое время, которое им нужно было на то, чтобы выйти в ретираду и снова возвратиться на свои койки?

Следователи не упустили из вида и этого, но опять ничего не вышло.

Надзирательница Азарова и служанки Кирсанова и Пелагея Логинова объявили, что посторонних посетителей в заведении перед этим не было, кроме 25-го числа января; 25-го же утром, до обеда, больных посещали какие-то три неизвестные барыни и роздали всем по одному французскому хлебу. Хлебы

эти были всеми больными съедены до обеда того же 25-го января, и с той поры больные не употребляли никакой другой еды, кроме вышеописанной больничной пищи, состоявшей из съедобных предметов довольно грубых, но здоровых и во всяком разе безвредных.

Засим старший доктор, коллежский советник Погорский, удостоверил, что вышепоименованные скоропостижно умершие женщины 26-го января и до этого дня были здоровы (исключая умственного расстройства в разной степени) и никаких лекарств ни одна из них не принимала.

Стало быть, даже и с этой стороны ничего сокращающего жизнь им подано не было, и смерть их последовала по крайней мере «без медицинской помощи».

Но, однако, отчего же они умерли?

Вот в том-то и тайна.

Да это и в течение целых двадцати пяти лет оставалось тайною даже для такого лица, как председатель медицинского совета, которому в интересах науки нельзя было не заботиться, чтобы уяснить рассказанный случай. И председатель медицинского совета описан-

ным происшествием в воронежском сумасшедшем доме интересовался, – только втуне.

Акт, сохранившийся в бумагах покойного Пеликана, кончается на том, что мы могли из него выбрать и сообщить; но на нем есть еще чрезвычайно любопытная пометка, сделанная собственно рукою Евгения Венцеславовича 8-го декабря 1878 года. Из этой надписи видно, что покойному председателю медицинского совета описанное загадочное событие пяти смертей оставалось необъяснимым до 1878 года, т. е. в течение ровно двадцати пяти лет.

В 1878 году покойный Пеликан распорядился искать по этому делу справок в архивах министерства внутренних дел, но, несмотря на то, что Пеликан держал свои бумаги в отличном порядке и обо всем касающемся данного предмета делал обстоятельные отметки собственно рукою, – загадочный случай пяти смертей в воронежском сумасшедшем доме и после 1878 года оставлен им без объяснения, – при одном лишь желании знать: чем такая загадка разъяснена быть может.

К сказанному, может статья, нелишним

будет прибавить, что все пять в одно время скоропостижно умерших были женщины бедные и из низшего класса, так что, кажется, трудно даже придумать, кому было выгодно озабочивать себя приспешением всем им коллективной кончины.

Разве, может статья, теперь кто-нибудь из воронежских старожил в состоянии пролить свет на любопытный вопрос: отчего в их городе скоропостижно и вдруг умерли, в 1853 году, пять сумасшедших?

Для медицинской науки это еще и теперь, несмотря на тридцатилетнюю давность, будет интересно.

На читателей этот маленький рассказ из недавнего русского прошлого, может быть, произведет неприятное чувство; он как бы незакончен, – в нем нет удовлетворения любопытству: чем же дело разъяснилось?

Пишущий настоящие строки вполне сознает законность такого неудовольствия, и сам его испытывал, когда прочел сейчас рассказанное дело. Но просвещенный читатель пусть не посетует за эту неудовлетворенность. Пусть он обратит свою мысль в другую

сторону, – пусть он вспомнит тех из наших соотечественников, которые, по замечанию Н. И. Пирогова, «препобедили в себе даже потребность воспоминаний о прошлом».

Настоящий рассказ годится для того, чтобы оценить весь труд их «препобежденной» памяти, и в этом отношении он не оставит досадительной неудовлетворенности.

Припомнить себе такую неудовлетворенность есть своего рода большое удовлетворение.

# Умершее сословие (Из юношеских воспоминаний)

В 1884 году было напечатано в газетах, что в Нижнем Новгороде один торговец и один чиновник, сидя в трактире, бранили местного губернатора Баранова. Полиция арестовала этих господ, но губернатор Баранов приказал их освободить и указал полиции впредь не обращать внимания на такие ничтожные вещи.

Этот случай, не заслуживающий, кажется, ничего другого, кроме сочувствия должностному лицу, которое так распорядилось, – вызвал, однако, у кривотолков осуждение.

– Во всяком случае (доводилось слышать) – это своего рода рисовка, гарун-аль-рашидство; все это только разводит дикие фантазии.

Во дни нашей юности мы тоже видали «дикие фантазии», но только в другом роде. Нижегородские «дикие фантазии» напоминают мне другой город и другой губернаторский

характер, который считали типическим в прошлую, хотя и не очень отдаленную от нас пору. Кто любит вспоминать недалекую старину и сопоставлять ее с нынешним временем, для тех, может статься, это будет не лишено интереса.

Во время моей юности, проходившей в Орле, там жил «на высылке» Афанасий Васильевич Маркович, впоследствии муж талантливой русской писательницы, известной под псевдонимом «Марко Вовчок».

Афанасий Васильевич в очень молодых годах был выслан в Орел из Киева по случившейся в Киеве «истории», которую тогда считали «политической» и называли «костомаровскою историей».

Маркович должен был жить в Орле и находиться под непосредственным наблюдением местного губернатора, а дабы наблюдение за ним было удобнее, Маркович был зачислен на службу в губернаторскую канцелярию. Тут он занимал должность делопроизводителя, или помощника правителя, – не помню уже теперь, по какому отделу.



Имущественные средства Марковича были не очень свободны – он нуждался в подспорье, которым ему и служило маленькое жалованье, присвоенное его канцелярской должности (помнится, что-то около двадцати пяти рублей в месяц). Занятия службою Марковича не тяготили, но не могла его не тяготить подчиненность лицу, от которого он зависел.

Орловскою губернией во время ссылки Марковича правил не раз упоминавшийся в литературе князь Петр Иванович Трубецкой.

Уверяли, будто он был человек не злой, но невоспитанный и какой-то, – как его звали орловцы, – «невразумительный». Князь знал и понимал в делах очень мало, или, вернее сказать, – почти ничего, а правительственно-го искусства он не имел вовсе, но безмерно любил власть и страдал охотою вмешиваться во все.

Такая склонность побудила его, между прочим, вмешаться даже в дела церковного управления, что и было причиною возникновения много раз описанной непримиримой «войны» между ним и покойным орловским

архиепископом Смарагдом Крыжановским, который ранее, по случаю болезни Павского, дал несколько уроков покойному государю Александру Николаевичу во время его детства. Поэтому Смарагд слыл в Орле «царским законоучителем» и очень этим кичился. Вообще же он имел характер гордый и неуступчивый.

Его «война» с Трубецким есть своего рода орловская эпопея. Она не раз изображалась и в прозе, и в стихах, и даже в произведениях пластического искусства. (В Орле тогда были карикатуристы: майор Шульц и В. Черепов.) Интереснее истории этой «войны» в старом Орле, кажется, никогда ничего не происходило, и все, о чем ни доведется говорить из тогдашних орловских событий, непременно немножко соприкасается как-нибудь с этой «войной».

Я хочу рассказать об одном покушении князя Трубецкого вторгнуться в область истории и о том, кто его на это навел и кто его от этого отвел... Все это относится к тому же боевому времени.

Кто-то из охотников вмешиваться не в

свое дело сообщил письмом князю Петру Ивановичу, что в Орловской гимназии происходят будто бы непозволительные вещи, – а именно – будто учитель истории (кажется) Вас. Ив. Фортунатов (тогда уже почтенный старик) излагает ученикам «революционные экзерсисы», а почетный попечитель гимназии, флота капитан 2-го ранга Мордарий Васильевич Милюков (на дочери которого впоследствии был женат В. Якушкин), будто бы оказывает этому вредному делу потворство.

Наблюдатель, желающий оставаться сам в неизвестности, представлял в подкрепление своих слов доказательства, состоявшие в том, что подозреваемый им в неблагонадежности учитель истории, в присутствии попечителя Милюкова, разъяснял ученикам «о правах третьего сословия во Франции», а капитан 2-го ранга Милюков учителя не остановил и тем выразил ему как бы свое одобрение.

Можно было предполагать, что извет этот прислал князю кто-нибудь из родителей какого-нибудь воспитанника – человек, может быть, ничего не знавший в истории и имевший какой-то сумасшедший взгляд на позво-

лительное и непозволительное в преподавании.

Более важного в доносе ничего не указывалось, но князь никогда не давал себе труда различать важное от неважного. Ему главное было, чтобы имелся предлог «пошуметь». Это был в его время такой служебный термин. О начальниках, которых особенно хотели похвалить, всегда говорили: «Охотник пошуметь. Если к чему привяжется, и зашумит и изругает как нельзя хуже, а неприятности не сделает. Все одним шумом кончал».

Таких начальников одобряли: «брань на воротах не виснет».

Таков был отчасти и князь Петр Иванович, и так же поступил он и в том случае, о котором будем беседовать, вспоминая его славное время.

Князю Трубецкому письмо показалось вполне достаточным поводом для того, чтобы вмешаться не в свое дело и кому-нибудь «надерзить». (О нем так и говорили в Орле, что он «любит дерзить».)

Князь сейчас же призвал правителя или исправлявшего его должность и велел немед-

ленно написать «хороший напрягай и указание». Сноситься с попечителем, который тогда жил в Харькове, князю казалось излишним, – он хотел сам исправлять все непосредственно, – да и дело не терпело отлагательства.

Правитель канцелярии не мог возражать князю, а извернулся иначе. Он сослался на незнакомство с учебным делом и указал на Марковича как на человека «университетского», который должен все это хорошо знать и потому может написать и «напрягай указание».

Приказание сейчас же было передано Марковичу и поставило того в очень неприятное затруднение. Он не мог усмотреть решительно никакой вины со стороны учителя в том, что тот упоминал про «третье сословие», и не знал, какой и за что давать напрягай. А потому он явился к князю и осмелился ему доложить, что это не губернаторское дело, а дело попечителя учебного округа, а притом, что учитель имел основание упоминать о «третьем сословии», так как это, очевидно, не что иное, как tiers-état, то есть сословие граждан

и крестьян, составлявшее в феодальные времена во Франции часть генеральных штатов (Etats généraux) и существовавшее до революции рядом с аристократией и с духовенством.

Князь рассердился, и хотя он обращался с Марковичем всегда деликатнее, чем с другими, но тут и на него зашумел вовсю. Обрезать его не было никакой возможности, ибо он был ужаснейший крикун и ругатель.

Вообще как гражданский правитель Трубецкой походил, пожалуй, на Альберта Брoльи, о котором Реклю говорит, что «по мере того, как он приходил в волнение, он начинал пыхтеть, свистать, харкать, кричать и трещать, гнев его походил на гнев восточного евнуха, который не знает, чем излить досаду». Но Трубецкой имел еще перевес перед Брoльи, потому что знал такие слова, которых Брoльи, конечно, не знал, да, без сомнения, и не посмел бы употребить с французами.

Таким Трубецкой явился и на сей раз. Он ничего не желал слушать и настойчиво велел как можно скорее написать «напрягай» и подать его к подписи.

Он был очень скор и любил действовать по-военному.

Маркович дерзнул только спросить, как он прикажет вперед называть людей третьего сословия?

– Называть их так, в каких он нынче чинах.

– Они все уже умерли.

– А это еще лучше: если они умерли, то пусть учитель и говорит о правах «умершего сословия».

Приходилось писать об умершем сословии и напрямик Милюкову и наставление учителю, а также и сообщение окружному учебному начальству.

Но что человек предполагает, то бог располагает.

Представлять резоны князю Трубецкому было невозможно, тем более что и те краткие замечания, которые осмелился представить ему Маркович, уже привели легко возбуждающуюся натуру губернатора в кипячение. Князь в таких случаях не переносил даже себя самого и нетерпеливо рвался на воздух. Ему надо было выгуляться и выпустить из се-

бя неукротимый жар.

В губернаторском доме все это знали, и чуть князь начинал шуметь, сейчас же готовили для него лошадей «на выскочку». Так в городе и говорили: «вот князь едет на выскочку» – и все по возможности прятались, чтобы не попадаться ему на глаза.

И теперь он тоже резко встал из-за стола, порывисто отбросил ногою прочь свое кресло и велел как можно скорее подать открытую пролетку. Он очень спешил на кого-нибудь покричать на вольном воздухе, потому что в таких случаях он любил кричать громко, во все свое удовольствие, но дома, при княгине, он не всегда смел доставить себе такое удовольствие.[38]

Чиновник ушел, а князь поехал по городу, чтобы как-нибудь перетерпеть, пока ему изготовят и подадут подписывать «напрягай»; а тем временем, по усмотрению судеб, мысли его получили другое направление, и напрягай оказался совсем ненужным.

У князя Петра Ивановича в Орле был знаменитый кучер. Он разве малым чем-нибудь уступал оставившему по себе в Москве исто-



рическую память кучеру обер-полицеймейстера Беринга. Орловский наездник был так же утробист, так же горласт и краснорож, имел такие же выпяченные рачьи глаза и так же неистово хрипло орал и очертя голову несся на всех встречных и поперечных, ни за что не ожидая, пока те успеют очистить ему дорогу. На душе этого христианина, говорят, считалось уже несколько смертных грехов, и во всяком случае он по справедливости мог почитаться в свое время очень опасным человеком в городе.

Лихая езда как на пожар тогда была, впрочем, в моде у многих больших лиц, и это почиталось даже необходимым признаком «твердой власти». Особенно быстро ездили губернаторы и полицеймейстеры: они всюду скакали, и кучера их всегда особенно кричали. Это придавало городам оживление.

Князь Трубецкой по преимуществу любил такого рода всенародную помпу, и горожанам она нравилась. Все видели, что губернатор едет как губернатор, а не трюх-трюх, как ездил тогда в Орле приснопамятный инспектор гимназии Азбукин.

А ездил князь большею частию по-русски, то есть парой, с пристяжкой – рысак в корне и заливчатский в кольцо изогнувшийся скакун в пристяжке.

Летит, бывало, как вихорь, кони мчатся, подковы лязгают о широкие каменья отвратительной орловской мостовой, кучер выпрет глаза и орет, как будто его снизу огнем жарит, а князь сидит руки в боки, во все стороны поворачивает свое маленькое незначительное лицо, которому не даровано было от природы никакого величия, но, однако, дозволено было производить некоторый испуг. Для этого князю стоило только поднять к носу стоячие усы и пустить в ход свое прискорбное сквернословие. Рот у него тогда становился черный и круглый, как у сжатого за жабры окуня, а из-под усов рвались и текли эти звуки, которые по справедливости требовали увещаний по тексту известного поучения, приписываемого Иоанну Златоусту.

Прибавьте к этому, что человек, о котором говорим, по верному местному определению, был «невразумителен», груб и самовластен, – и тогда вам станет понятно, что он мог вну-

шать и ужас и желание избегать всякой с ним встречи. Но простой народ с удовольствием любил глядеть, когда «ён садит». Мужики, побывавшие в Орле и имевшие счастье видеть ехавшего князя, бывало, долго рассказывают:

– И-и-их, как ён садит! Ажио быдто весь город тарахтит!

Особенно сильное впечатление производило, когда князь поворачивал на углу из одной улицы в другую. Тут его кони, экипаж, кучер и сам он неслись, совсем накренысь, и на поворотах летели в наклонном положении, пока опять выравнивались и, приняв прямое положение, мчались еще быстрее. Это никогда не обещало благополучия ни пешему, ни конному, кто бы тут ни подвернулся.

Так Трубецкой понесся и теперь, раздраженный почтительными представлениями Марковича о третьем сословии во Франции.

Губернатор ехал от себя с горы по Волховской улице вниз. Он имел, вероятно, намерение пронестись мимо окон гимназии, чтобы там его увидали и заранее уже содрогнулись.

Он благополучно обскакал «дом дворянства» и без всякого для себя вреда повернул

вниз за угол, но здесь случилось с ним несчастье: кони его сшибли с ног одного приказного. Тот, однако, с божиею помощью встал и выпутался из своей разодранной шинелишки и даже старался успокоить начальство, что его приказной спине не больно. Но князь еще больше осердился и обругал подьячего за неловкость, – а затем вдруг встретил новый, еще больший беспорядок.

В то время, как князь подъехал к Введенскому девичьему монастырю (нынче, кажется, простая приходская церковь), ему, против магазина тогдашнего великосветского портного Жильберта, попался навстречу местный купец П. Купец был старик и плохо видел, а притом он ехал в маленькой беговой купеческой тележке и сам правил дорогим кровным рысаком.

Купец этот был большой храмоздатель и с этой стороны был известен архиерею Смарагду, а кроме того, он был охотник до лошадей и с этой стороны был известен князю, у которого не было ни одной такой хорошей лошади, какою правил теперь купец. Это уже само по себе было непорядок.

Ехал купец шагом, чинно и степенно, что называется «в свое удовольствие», а рядом с ним, под левым локтем, помещался мальчик лет четырнадцати, его фаворит-внучек; но, встретясь с губернатором, купец ни сам не снял картуза, ни поучил этому внука. Это уже было совсем непозволительно.

Всего вероятнее, что купец, правя горячею лошадью, не успел снять перед князем Петром Ивановичем свой картуз, а о внуке не вспомнил. Но князь не любил входить в такие мелочи. Он видел в этом один оскорбительный для него факт. Он заколотился руками и ногами и поднял такой шум и крик, что купец оробел и бросил вожжи. Лошадь рванула и понесла, выбросив старика у дверей Жильберта, а внука у столбов Георгиевской церкви.

Мальчик, более легкий телом, отделался счастливо, а грузный старик очень расшибся. Старый француз Жильберт имел столько независимости, что поднял его и посадил у себя на крылечке – и тем, может быть, вызвал на мягкость самого князя.

Трубецкой велел посадить старика на из-

возчика и отправить его на гауптвахту, где того и продержали, пока князь успокоился, а он в это время все ждал, не станет ли заступаться за купца Смарагд, и за эту новую заботу позабыл о полученном им извете насчет третьего сословия. Маркович же слукавил и не напоминал ему о его намерении вмешаться не в свое дело. Так опасность от вредного направления в гимназии миновала, и губернаторское распоряжение именовать tiers-état «умершим сословием» не получило дальнейшего хода. За все французское tiers-état в Орле оттерпелся один купец, едва умевший выводить каракулями «церикофнии старта».

В Трубецком была прелестна и достойна самого любовного наблюдения искренность его губернаторского величия: он его словно нес с собою повсеместно, как бы некий алавастр мирры, с постоянною заботливостью, чтобы кто-нибудь не подтолкнул его под локоть, чтобы сосуд не колыхнулся и не расплескалось бы его содержимое. Это был «губернатор со всех сторон»; такой губернатор, какие теперь перевелись за «неблагоприят-

ными обстоятельствами». Но в то время, к которому относятся мои воспоминания, в числе современников Трубецкого было несколько таких губернаторов, которых не позабудет история. Над ними над всеми яркой звездой сиял Александр Алексеевич Панчулидзе в Пензе, на которого дерзкою рукою «навел следствие» немножко известный в литературе своими «стансами» Евфим Федорович Зарин («Библиотека для чтения» – «стансы Зарина» и т. д.). Печатной гласности тогда у нас и в заведении еще не было, а функции ее исполняла «молва»: «земля слухом наполнилась». Между Орловскою губерниєю, где процветал князь Трубецкой, и Пензенскою, которая была осчастливлена переводом туда из Саратова А. А. Панчулидзева, находится Тамбовская губерния, сродная Орловской по особенной чистоте плутовских типов. (Ни в той, ни в Другой даже «жид долго не мог привиться» – потому что «свои были жида ядовитее».) Через Тамбовскую губернию орловцы с пензяками перекликались: пензяки хвалились орловцам, а орловцы пензякам – какие молодецкие у них водворились правители. «Наш же-

сток». – «А наш еще жестче». – «Наш ругается на всякие манеры». – «А наш даже из своих рук не спускает». Так друг друга и превосходили. Но пришло какое-то изменчивое время, и Смарагд с предводителем как-то «подвели» Трубецкому какую-то хитрую механику. Почувствовалась надобность «убрать его в сенаторы». Убрали. Он уехал начисто, так что после его отъезда в губернаторском доме не нашли даже некоторых паркетов. В Пензе между тем А. Панчулидзеv продолжал процветать. Предводитель А. А. Арапов был ему друг и брат по «заводчеству» (оба были «винокуры и бедокуры»), а Е. Зарин еще был в юности, и сразительный яд еще не созрел под его семинарским языком. Приставленный к сенату, Трубецкой был и польщен и в то же время обижен: в сенате его решительно никто не боялся, да и на стогнах столицы он совсем не производил никакого внушающего впечатления. При появлении его самые обыкновенные люди так же шли и ехали, как будто его и нет, – и «не ломали шапок» и не уступали дороги, между тем как это столько лет кряду согревало и вдохновляло князя... Он заскучал в



столице о добрых и простых нравах провинции и поехал летом прокатиться – навестить свои и витгенштейновские родовые маетности. Орел он «промигнул мимо»... Не в гостинице же ему было тут останавливаться и слушать, как «другой» правит!.. Но в Киеве он остановился для советов с врачами и ради каких-то духовных потребностей княгини, которой тоже были свойственны и религиозные порывы. Остановились они incognito,[39] в молитвенном смирении, не в гостинице «Англетер», а у самого православного купца Ивантия Михайловича Батухина, и вечером, когда все кошки становятся серы, князь отправлялся подышать чистым воздухом. Дело это было по осени. На дворе, после погожего дня, проморосил дождичек и смочил киевские кирпичные тротуары, – гуляющих было мало, и князь мог «растопыриться». Это было самое любимое его устройство своей фигуры, когда ему надо было идти, а не ехать. Он брал руки «в боки», или «фертом», отчего капишон и полы его военного плаща растопыривались и занимали столько широты, что на его месте могли бы пройти три человека: всякому видно, что

идет губернатор. (Сенаторства князь не равнял с губернаторством и любил быть вечно губернатором.)

Так шел он и теперь по лучшей улице Киева, Крещатику, от «Англетера» к Александровскому спуску, и вдруг на самом углу Институтской горы с ним случилось странное, но в то же время досадительное происшествие.

В Киеве был тогда гражданским губернатором знаменитый в своем роде богач и добрый, кроткий человек Иван Иванович Фундуклей, иждивением которого сделано много прекрасных описательных изданий. Он был одинокий, довольно скучный человек, тучного телосложения и страдал неизлечимыми и отвратительными лишаями. Его лечили многие медицинские знаменитости и не вылечили: лишай немножко успокаивался, но потом опять разыгрывался – пузырились, пухли, чесались и не давали богачу нигде ни малейшего покоя. Тогда потаенно был призван который-то из известных в свое время киевских самоучек – не то Потапенко, не то Корней (Столпчевский) – и стал лечить расчесавшегося вельможу «травкою и *выпотнением*».

Травки шли больше «для успокоения больного», но главное, на что рассчитывал знахарь, – это было «выпотнение», столь известное по своим последствиям ветеринарам и спортсменам. Лошадям для этого покрывают подлежащую выпотнению часть тела войлочным потником и гоняют их на корде, а для Фундуклея было устроено так, что он покрывал стеганым набрюшником пораженное лишаем место, надевал на себя длинное ватное пальто, сшитое «английским сюртуком», брал зонтик и шел гулять с своею любимую пегою левреткою. Таким образом производилось «выпотнение», и производилось оно в течение довольно долгого времени неотложно и аккуратно при всякой погоде. А так как губернаторам в то время днем среди толпы гулять было неудобно, потому что все будут кланяться и надо будет откланиваться, а Фундуклей был человек застенчивый и скромный, то он делал свою гигиеническую прогулку через час после обеда, вечером, когда – думалось ему – его не всякий узнает, для чего он еще тщательно закрывался зонтиком.

Разумеется, все эти старания скромного гу-

бернатора не вполне достигали того, чего он желал: киевляне узнавали Фундуклея и, по любви к этому тихому человеку, давали ему честь и место. Образованные люди, заметив его большую фигуру, закрытую зонтиком, говорили: «Вот идет прекрасная *испанка*», а простолюдины поверяли по нем время, сказывая: «Седьмой час—вон уже дьяк с горы спускается».

«Дьяком» называли Фундуклея потому, что в своем длинном английском ватошнике он очень напоминал известную киевлянам фигуру златоустовского дьячка «Котина», который в таком же длинном ватошнике сидел на скамеечке с тарелочкою и кропильницей у деревянной церкви Иоанна Златоуста и «переймал богомулов», уговаривая их «не ходить на Подол до братчиков, бо они дуже учени и переучени, а класти упрост жертву Ивану». Издали дьяк Котин и губернатор Фундуклей в английском капоте имели по фигуре много сходства.

Чтобы выпотнение шло сильнее, губернатор делал свои вечерние прогулки не по ровной местности, в верхней плоскости города,

где стоит губернаторский дом на «Липках», а, спускаясь вниз по Институтской горе, шел Крещатиком и потом опять поднимался в Липки, по крутой Лютеранской горе, где присаживался для кратковременного отдыха на лавочке у дома портного Червяковского, а потом, отдохнув, шел домой.

Такой курс держал он и в тот теплый и темноватый вечер, когда шел случившийся проездом в Киеве князь Петр Иванович Трубецкой.

Фундуклей шел, понунив голову и закрывая лицо распущенным без надобности зонтиком, а Трубецкой «пер» своей гордой растопыркой, задрал лицо кверху. Они столкнулись. Трубецкой получил легкое прикосновение к локтю, но сам вышиб этим локтем у Фундуклея зонтик и шнурок, на котором шла собачка.

Грузный Иван Иванович ничего не сказал и стал делать очень тяжелое для него усилие, чтобы поймать и поднять покотившийся зонтик, а в это время от него побежала его собачка, шнурок которой ему было еще труднее схватить, чем зонтик.

Трубецкой же рассердился, затопотал и закричал:

– Знаешь ли, кто я? знаешь ли, кто я?

– Не знаю, – отвечал Фундуклей.

– Я губернатор!

– Ну так что же делать, – рассеянно произнес Иван Иванович, – я и сам тоже губернатор!

В это время на небе блеснула луна, и случившийся на улице квартальный, узнав Фундуклея, поймал и подвел к нему на шнурке его собачку.

Тут Трубецкой воочию убедился, что перед ним в самом деле, должно быть, губернатор, и поспешил возвратиться в свою гостиницу в гневе и досаде, которые и излил перед покойным медицинским профессором Алекс. Павл. Матвеевым. Акушер Матвеев происходил из дворян Орловской губернии и имел родных, знакомых Трубецкому, вследствие чего и был приглашен для бесплатного медицинского совета. Ему Трубецкой рассказал свою «неприятную встречу», а тот по нескромности развез ее во всю свою акушерскую практику.

Теперь все эти лица уже сами составляют

«умершее сословие»; но когда случится вспомнить о их времени, то даже как будто не верится, что все это было в действительности и притом еще сравнительно так недавно.

*Впервые опубликовано – «Книжки недели», 1888.*

# Голос природы

## Глава первая

**И**звестный военный писатель генерал Ростислав Андреевич Фаддеев, долго сопутствовавший покойному фельдмаршалу Барятинскому, рассказывал мне следующий забавный случай.

Проезжая с Кавказа в Петербург, князь однажды почувствовал себя в дороге нездоровым и позвал доктора. Было это, если я не ошибаюсь, кажется, в Темир-Хан-Шуре. Доктор осмотрел больного и нашел, что опасного в его состоянии ничего нет, а что он просто утомился и ему необходимо отдохнуть один день без дорожной качки и тряски в экипаже.

Фельдмаршал послушался доктора и согласился остановиться в городе; но стационарный дом был здесь прескверный, а частного помещения, по непредвиденности такого случая, приготовлено не было. — Явились неожиданные хлопоты: куда поместить на сутки такого именитого гостя.



Пошла суета да беганье, а нездоровый фельдмаршал тем временем поместился в почтовой станции и улегся на грязном диване, который для него только чистою простынею покрыли. Между тем весть об этом событии, разумеется, скоро облетела весь город, и все военные побежали поскорее чиститься и парадиться, а штатские – сапоги наваксили, виски припомадили и столпились против станции на другом тротуаре. Стоят и фельдмаршала высматривают – не покажется ли в окно?

Вдруг, ни для кого неожиданно и негаданно, один человек всех сзади распихал, выскочил и побежал прямо на станцию, где фельдмаршал на простыне на грязном диване лежал, и начал кричать:

– Я этого не могу, во мне голос природы воздымается!

Посмотрели на него все и подивились: что за нахал такой! Местные обитатели все этого человека знали, и знали, что сан у него не велик – так как он был не штатский, не военный, а просто смотрителишка при каком-то местном маленьком интендантском или ко-

миссариатском запасе, и грыз вместе с крысами казенные сухари да подошвы, и таким манером себе как раз через дорогу против станции хорошенький деревянный домик с мезонином нагрыз.

## Глава вторая

Прибежал этот смотритель на станцию и просит Фаддеева, чтобы непременно о нем доложить фельдмаршалу. Фаддеев и все другие стали его отговаривать.

– Зачем вам, – это совсем не требуется и никакого приема чинов тут не будет, – фельдмаршал здесь только для временного отдыха от своей усталости и, как отдохнет, опять уедет.

А интендантский смотритель на своем стоит и еще больше воспламенился – просит, чтобы непременно о нем князю доложили.

– Потому что я, – говорит, – не славы ищущий и не почестей, а в том самом виде именно и предстою, как вами сказано: не по службе, а по усердию моей ему благодарности, так как я всем на свете князю обязан и теперь во всем моем благоденствии, голосом природы воз-

буждаем, желаю ему благодарно долг отдать.

Его спросили:

– А в чем ваш долг природы заключается?

А он отвечает:

– Таков мой долг благодарной природы, что князю здесь в казенной неопрятности нехорошо отдыхать, а у меня как раз отсюда визави дом, свой дом с мезонином, и жена у меня из немок, дом наш содержится в чистоте и опрятности, то у меня для князя и для вас есть на мезонине комнаты светлые, чистые, везде на всех окнах занавески белые с кружевами, и на чистых постелях тонкое белье полотняное. Я желаю с большим радушием принять у себя князя, как отца родного, потому что я всем в жизни ему обязан и без того отсюда не пойду, чтобы ему не было доложено.

Так он настойчиво на этом стоял и не хотел уходить, что фельдмаршал из другой комнаты услышал и спрашивает:

– Какой это шум? Нельзя ли мне доложить: о чем такой разговор слышно?

Тогда Фаддеев все доложил, а князь пожал плечами и говорит:

– Решительно не помню, какой такой это

человек и чем он мне обязан; а впрочем, посмотрите его комнаты, которые он предлагает, и если они лучше этой лачуги, то я приглашение его принимаю и за беспокойство ему заплачу. Узнать – сколько хочет?

Фаддеев пошел мезонин у интенданта осмотрел и докладывает:

– Помещение очень спокойное и чистота необыкновенная, а про плату хозяин и слышать не хочет.

– Как так, и отчего? – спросил фельдмаршал.

– Говорит, что он много вам обязан и голос природы его побуждает за счастье выразить вам долг благодарности. А иначе, – говорит, – если платить хотите, то я и дверей своих открыть не могу.

Князь Барятинский засмеялся и этого чиновника похвалил.

– Однако, я замечаю, – говорит, – он молодец и с характером – это в нашей стороне стало редко, и я таких людей люблю: вспомнить, чем он мне обязан, я не могу, но к нему перейду. Давайте вашу руку и идем отсюда.

## Глава третья

Перешли улицу и... во двор; а у калитки уже Фельдмаршала встречает сам смотритель – припомажен, приглажен, на все пуговицы застегнут и с лицом самым радостным.

Князь как оглянулся вокруг – видит, все чисто, светло сияет, за палисадником зелень веселая и розы в цвету. Князь и сам развеселился.

Спросил:

– Как хозяина зовут?

Тот отвечал что-то вроде Филипп Филиппов Филиппов.

Князь продолжает с ним разговор и говорит:

– Очень у тебя хорошо, Филипп Филиппыч, – и мне нравится; только одного я никак припомнить не могу: где и когда я тебя встречал или видел, и какое я тебе мог одолжение сделать?

А смотритель отвечает:

– Ваша светлость меня очень видели, а когда – это если забыли, то после объяснится.

– Зачем же после, когда я сейчас тебя хочу

ВСПОМНИТЬ.

Но змолтритель не сказал.

– Пролшу, – говорит, – у вашей светлости прощения: если вы сами этого не вспомнили, то я сказать не смею, но голос природы вам скажет.

– Что за вздор! какой «голос природы», и отчего ты сам сказать не смеешь?

Смолтритель отвечает: «так, не смею», и глазами потупился.

А тем временем они пришли на мезонин, и здесь еще лучше чистота и порядок: пол весь мылом вымыт и хвоцом натерт, так что светится, посередине и вдоль всей чистенькой лестницы постланы белые дорожки, в гостиной диван и на круглом переддиванном столе большой поливанный кувшин с водою, и в нем букет из роз и фиалок, а дальше – спальная комната с турецким ковром над кроватью, и опять столик и графин с чистой водою и стакан, и снова другой букет цветов, а еще на особом столике перо, и чернильница, и бумага с конвертами, и сургуч с печатью.

Фельдмаршал сразу окинул все это глазом,

и очень ему понравилось.

– Видно, – говорит, – что ты, Филипп Филиппыч, человек полированный, знаешь, что как следует, и я тебя действительно как будто где-то видел, но не могу вспомнить.

А смотритель только улыбается и говорит:

– Не извольте беспокоиться: через голос природы это все объяснится.

Барятинский рассмеялся:

– Ты, – говорит, – братец, после этого и сам не Филипп Филиппович, а «голос природы», – и очень этим человеком заинтересовался.

## Глава четвертая

Лег князь в чистую постель – ноги и руки вытянул, и так хорошо ему стало, что он сразу же задремал: проснулся через час в прекрасном расположении, а перед ним уже стоит прохладный шербет вишневый, и этот самый хозяин просит его выкушать.

– Вы, – говорит, – на лекарства медиков, ваша светлость, не полагайтесь, а у нас природа и вдыхание атмосферы пользуют.

Князь весело ему отвечает, что все это, говорит, очень хорошо, но я тебе должен при-

знать – я у тебя прекрасно спал, но, черт меня возьми, и во сне все думал: где же я тебя видел, или никогда не видал?

А тот отвечает:

– Нет, – говорит, – вы изволили очень хорошо меня видеть, но только совершенно в другом виде природы и потому теперь не признаете.

Князь говорит:

– Хорошо, пусть так; но теперь здесь, кроме меня и тебя, никого нет, если же там в соседней комнате кто есть – то вышли всех их вон, пусть на лестнице постоят, а ты мне откровенно скажи без всякой секретности: кто ты такой был и в чем твоя преступная тайна, – я могу тебе обещать выпросить прощение и обещание свое исполню, как есть я истинный князь Барятинский.

Но чиновник даже улыбнулся и отвечал, что за ним ровно никакой провинной тайности нет и никогда не было, а он не смеет только «skonфузить» князя за его непамятливость.

– Так и так, – говорит, – я вашу светлость за ваше добро постоянно помню и на всех молитвах поминаю; а наш государь и вся цар-



ская фамилия постоянно кого раз видели и заметили – того уж целый век помнят. Потому дозвольте, – говорит, – мне вам словесно о себе ничего не вспоминать, а в свое время я все это вам в ясных приметах голосом природы обнаружу – и тогда вы вспомните.

– А какое же ты к этому средство имеешь голосом природы все обнаруживать?

– В голосе природы, – отвечает, – все средства есть.

Князь улыбнулся чудаку и говорит:

– Это твоя правда, – сказал князь, – забывать скверно, и наш государь и царская фамилия действительно удивительно какие памятливые; но у меня память слабая. Не снимаю с тебя воли, делай как знаешь, только я желаю знать: когда же это ты будешь мне свой голос природы обнаруживать, потому что я себя теперь в твоём доме уже очень хорошо почувствовал и после полуночи, холодком, хочу выехать. А ты мне должен сказать: чем тебя награждать за мой покой, который я у тебя имел, – потому что на это уже таков есть мой обычай.

Смотритель отвечает:

– Я до полуночи успею вашей светлости вполне весь голос природы открыть, если только вы в рассуждении моей награды не откажете мне то, что я составляю себе за драгоценнейшее.

– Хорошо, – отвечает князь, – даю тебе свое слово, что все, о чем попросишь, я тебе сделаю, но только не проси невозможного.

Смотритель отвечает:

– Я невозможного просить не стану, а у меня такое желание больше всего на свете, чтобы вы явили мне протекцию – сошли ко мне в нижние покои и сели с нами за стол и что-нибудь скушали, или даже хоть просто так посидели, потому что я нынче справляю мою серебряную свадьбу, после двадцати пяти лет, как я на Амалии Ивановне женился по вашему милосердию. А будет это к вечеру в одиннадцатом часу; в полночь же, как вам угодно, вы можете благопристойно холодком выехать.

Князь согласился и слово дал, но только все-таки опять никак не мог вспомнить: что это, и откуда этот человек, и отчего он двадцать пять лет тому назад женился на Ама-

лии Ивановне по его милосердию?

– Я даже с удовольствием пойду на ужин к этому чудаку, – сказал князь, – потому что он меня очень занимает; да и по правде сказать: мне самому что-то помнится, не то насчет его, не то насчет Амалии Ивановны, а что именно такое – припомнить не могу. Подождем голова природы!

## Глава пятая

К вечеру фельдмаршал совсем поправился и даже ходил гулять с Фаддеевым – город посмотрел и закатом солнца любовался, а потом, как возвратился домой в десять часов, хозяин уже его ждет и к столу просит.

Князь говорит:

– Очень рад, сейчас приду.

Фаддеев пошутил, что это даже и кстати, потому что он после прогулки почувствовал аппетит и очень хотел съесть, что там Амалия Ивановна наготовила.

Барятинский опасался только того: не посадил бы его хозяин на первом месте и не стал бы подавать много шампанского да потчевать. Но все эти опасения были совершенно

напрасны: смотритель и за столом показал столько же приятного такта, как и во все предыдущие часы, которые князь провел в его доме.

Стол был накрыт щеголевато, но просто; в зальце, очень просторном, сервировка опрятная, но скромная, и зажжены два черные чугунные канделябра прекрасной французской работы, в каждом по семи свечей. А вино стоит хороших сортов, но все местное, – но между ними толстопузенькие бутылочки с ручными надписями.

Это – наливки и водицы разных сортов и превосходного вкуса, и малиновые, и вишневые, и из крыжовника.

Стал смотритель гостей рассаживать и тоже опять показал свою ловкость: не повел князя в конец стола к хозяйскому месту, а усадил его, где тот сам хотел, – между адъютантом князя и прехорошенькой дамочкой, чтобы было фельдмаршалу с кем сказать и короткое слово и любезностями к приятному полу заняться. Князь с дамочкой сразу же очень разговорился: он интересовался, откуда она, и где воспиталась, и какое в таком дале-

ком уездном городе находит для себя развлечение?

Она ему на все его вопросы отвечала очень смело и без всякого жеманства и открыла, что больше всего, будто, чтением книг занимается.

Князь спрашивает: какие она книги читает?

Она отвечает: Поль-де-Кока романы.

Князь засмеялся:

– Это, – говорит, – веселый писатель, – и спрашивает: – Что же вы именно читали: какие романы?

Она отвечает:

– «Кондитер», «Мусташ», «Сестра Анна» и прочие.

– А своих русских писателей не читаете?

– Нет, – говорит, – не читаю.

– А почему так?

– У них мало светского.

– А вы любите светское?

– Да.

– Почему же это так?

– Потому, что мы о своей жизни сами всё знаем, а то интереснее.

И тут говорит, что у нее есть брат, который сочиняет роман из светской жизни.

– Вот это любопытно! – сказал князь. – Нельзя ли хоть немножко видеть, что он там пишет?

– Можно, – отвечала дама, и на минуточку встала и принесла небольшую тетрадку, в которой Барятинский, взглянув только на первую страницу, и весь развеселился и подал ее Фаддееву, сказавши:

– Посмотрите, как бойко начато!

Фаддеев посмотрел на первые строки светского романа, и ему стало весело.

Роман начинался словами: «Я, как светский человек, встаю в двенадцать часов и утреннего чаю дома не пью, а езжу по ресторанам».

– Чудесно? – спросил Барятинский.

– Очень хорошо, – отвечал Фаддеев.

В это время все развеселились, а хозяин встал, поднял вверх бокал с шипучим цимлянским и говорит:

– Ваша светлость, прошу вашего позволения, ко всеобщему и моему удовольствию, в сей драгоценный для меня день дозволить

мне изъяснить: кто я такой, и откуда и кому всем, чту имею к своему благоденствию, обязан. Но не могу я этого изложить в хладном слове человеческого голоса, так как я учен на самые мелкие деньги, а разрешите мне во всем законе моего естества при всех торжественно испустить глас природы!

Тут уже настало время самому фельдмаршалу сконфузиться, и он до того смешался, что нагнулся вниз, будто хотел салфетку поднять, а сам шепчет:

– Ей-богу, не знаю, что ему сказать: что это он такое спрашивает?

А дамочка, его соседка, щебечет:

– Не бойтесь, разрешайте: уж Филипп Филиппович дурного не выдумает.

Князь думает: «Э, была – не была, – пусть испускает голос!»

– Я такой же гость, – говорит, – как и все прочие, а вы хозяин – делайте, что вы хотите.

– Благодарю всех и вас, – отвечает смотритель и, махнув головой Амалии Ивановне, говорит: – Иди, жена, принеси, что ты сама знаешь, собственными твоими руками.

## Глава шестая

**А**малия Ивановна вышла и идет назад с большою, ярко отполированной медною валторною, и подала ее мужу; а он взял, приложил трубу к устам и весь в одно мгновение переменялся. Только что надул щеки и издал один трескучий раскат, как фельдмаршал закричал:

– Узнаю, брат, тебя, сейчас узнаю: ты егерского полка музыкант, которого я за честность над плутом интендантом присматривать посылал.

– Точно так, ваша светлость, – отвечал хозяин. – Я вам этого напоминать и не хотел, а сама природа напомнила.

Князь обнял его и говорит:

– Выпьемте, господа, все вдруг тост за честного человека!

И изрядно таки выпили, а фельдмаршал совсем выздоровел и уехал чрезвычайно какой веселый.

*Впервые опубликовано – журнал  
«Осколки», 1883.*



# Примечания

Граф Егор Францович Канкрин род. 1774 г., состоял генерал-интендантом в 1812 г., а с 1823 года министром финансов. Умер в 1846 г. Был отличный финансист и известен также как писатель; писал на немецком языке. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

## 2

Здесь: побренчать (*нем.*).

[^^^]

# 3

с распростертыми объятиями (*франц.*).

[^^^]

Дитя мое (*франц.*).

[^^^]

## 5

Имена героя и героини я ставлю не настоящие и фамилии их не обозначаю. От этого изображение эпохи и нравов, надеюсь, ничего не теряет. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

# 6

Спасибо, дитя мое (*франц.*).

[^^^]

подноса (*франц.*).

[^^^]



# 8

прощайте, мое дитя (*франц.*).

[^^^]

# 9

до свидания, господин N – ов (*франц.*).

[^^^]

жалкое бречанье (*франц. и нем.*).

[^^^]

Мой ангел (*франц.*).

[^^^]

«бывшей» (франц.).

[^^^]

ИНТИМНЫЙ вечер (*франц.*).

[^^^]

Ваше сиятельство! (*франц.*)

[^^^]

конце концов (*франц.*).

[^^^]



подобное подобным лечится (*лат.*).

[^^^]

радуется (*лат.*).

[^^^]

меткое слово (*франц.*).

[^^^]

психический признак (*франц.*).

[^^^]

*Я Бога не хочу, я не чую неба,  
Я на небо не пойду... (польск.).*

[^^^]

О да! (англ.)

[^^^]

Вот это действительно правда (*франц.*).

[^^^]

все это правда (*франц.*).

[^^^]



господин Равель (*франц.*).

[^^^]

Никанор (Клеменьевский) был митрополитом новгородским и с. – петербургским с 20 ноября 1848 г. по 17 октября 1856 г., когда умер. Его заместил с 1 окт. того же года в. – пр. Григорий (Постников), ум. 17 июня 1860 г. (*Прим. Лескова.*).

[^^^]

Высокопреосвященный Михаил (Десницкий) был митрополитом новгородским и с. – петербургским с 25 июня 1818 г. по день своей смерти, 24 марта 1821 года. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Муравьевых было пять братьев: Александр – бывший декабрист и впоследствии ссыльный, а потом губернатор и сенатор – Михаил (Виленский), Николай (Карский), Сергей, служивший где-то в небольших должностях, и общеизвестный Андрей Николаевич, которого называли «вселенским». Он был «друг всех патриархов» и «эпитрон». Часть свою из наследства отца Андрей Н. отдал брату своему Александру, а сам жил на Троицком подворье, в прекрасном, впрочем, помещении, которое даром предложил ему покойный митрополит московский Филарет (Дроздов). (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Вот клички некоторых других «муравьевских прихожан»: Эвальд назывался «Аз и Ферт», Мазовской – «Кукушка», Вагнер – «Корнет-хол», Шаховской – «Колокольчик», Абамелик – «Зосима и Савватий». Дамы тоже имели клички. Пажи и берейторы назывались общим именем «сен-сиры», но степенью расположенности они пользовались у Муравьева неодинаково. В числе ласкаемой Андреем Николаевичем молодежи («сен-сиров») были тогдашние юнкера Шереметев и братья Алексей и Петр Ахматовы, из которых один потом был обер-прокурором св. синода. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Андрей Николаевич Муравьев писал золотым пером, которое было ему поднесено его почитателями, с надписью: «перо Муравьева». Куда оно делось – неизвестно. Писал он всегда прескверно и потому предпочитал диктовать. (Прим. Лескова.).

[^^^]

Если Андрей Николаевич приходил в церковь Пантелеймона перед начатием ранней обедни и видел, что священник готовится начинать литургию один, без диакона, которого Муравьев уже знал за человека ленивого к молитве, то Андрей Николаевич тотчас же просил батюшку «подождать», а за диаконом посылал сторожа с приказанием «поднять его с постели». Сторож шел и исполнял поручение так успешно, что диакон приходил очень скоро и служил с благоговением. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Архимандрит Аввакум дожил свой обильный приключениями век и скончался в Александро-Невской лавре. Он погребен там же; подле церкви Благовещения, и над его могилою стоит так называемый «Китайский памятник». Китайская надпись иссечена на нем в Петербурге, но сочинена в Китае. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]



Аввакум получал около 4000 руб. пенсии за свою службу в Китае, да 2000 прибавочных. В некоторых сочинениях сказано, будто он был «казначеем» лавры, но это неправда. Аввакум казначеем не был и был так же неспособен к этой должности, как к должности цензорской. Он был очень добр и очень щедр, но все это под довольно грубою формою. Аввакум происходил из духовных тверской епархии. Цензорская проруха с ним случилась на книге архимандрита Израиля, где в вину Аввакуму была поставлена следующая неловкая строка: «блуд не был бы блудом, если бы не было учреждено таинство брака». Аввакум не оправдывался и не тужил, что его отставили. (Прим. Лескова.).

[^^^]

Мне случалось встречать в печати, что Виктора называют то «иподиакон», то «архидиаконом». Как то, так и другое неверно. Виктор прославился в сане «протодиакона». Первый архидиакон в Невской лавре поставлен высокопреосвященным Исидором – это Валериан, а между ним и Виктором был еще протодиаконом Герман. Также читал я где-то, что будто Виктор выезжал с митрополитом Серафимом на площадь во время декабристского бунта и защитил митрополита. Это опять неверно: на Сенатской площади 14 декабря 1825 года с митрополитом Серафимом был протодиакон Прохор. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Замечательно, что и этот случай не исправил нашей характерной небрежности. Один флаг потеряли бесследно, другой при нужде в нем сделали кое-как наскоро, но опять и об этом не сохранили никаких исторических памятей. О том, что флаг был сооружен для плаванья митрополита Никанора, помнят некоторые из доживающих свой век иноков и мирян, но мне ни от одного из них не удалось узнать – какой именно был этот флаг и куда он делся после экспедиции митрополита на Валаам? Полагают, что и этот флаг тоже пропал, а о том, что именно он изображал, говорят гадательно и разноречиво: одни говорят, будто «были нашиты какие-то кресты», а А. А. Вагнеру «помнится», что на флаге были нарисованы атрибуты митрополичьего служебного облачения: митра, посох, трикирий и дикирий. А какое из этих сведений вернее – о том решительно сказать невозможно. (Прим. автора.)

Андрей Николаевич Муравьев имел очень дурной почерк и остерегался своих неладов с русской орфографией, а потому он не любил писать собственной рукою. Он обыкновенно диктовал свои сочинения которому-нибудь из «птенцов», назначавшихся по каждому случаю в должность «генерального писаря». Для получения более широкого и сильного вдохновения Муравьев во время диктовок надевал на себя, поверх полукафтаны с запонами, широкий бедуинский плащ и диктовал, ходя скоро по комнате, чтобы плащ на нем велся как будто от ветра в пустыне. Так настраивался он, «закидывая за себя Шатобриана» или «метая горящие угли на головы» мало почетительных к нему людей

[^^^]

Карат собственно считается равным тяжестью одному зерну сладкого рожка, или около 4 гран. – (Прим. Лескова.).

[^^^]

Если долго пересматривать однородные цветные камни, то «глаз притупляется» и теряет способность отличать лучшие цвета от худших. Чтобы восстановить эту способность, скупщики камней имеют при себе *регулятор*, т. е. такой камень, цвет которого им известен своим достоинством. Сличая с ним чужой камень, покупатель сейчас же видит разницу в его оцвечении и может правильно судить о его достоинстве. – (Прим. Лескова.).

[^^^]

Супруга князя Петра Ивановича Трубецкого, рожденная Витгенштейн, была сама очень грозного характера и любила властвовать без раздела. Ее гневность и силу знали не только в городе, но и на почтовых станциях, где ее боялись все ямщики... Необыкновенное воспитание этой знатной дамы составляло для всех неразъяснимую загадку. – (Прим. Лескова.).

[^^^]

под чужим именем – (*франц.*).

[^^^]